

Мойсей Гольдштейн

84Е6-4

Г395

БИРОБИДЖАНЦЫ НА АМУРЕ





1945-1946

84Е6-4
✓ ✓ T395
Моисей Тольдштейн

9832 ✓
БИРОБИДЖАНЦЫ
НА
АМУРЕ

ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ

Перевод с еврейского
М. Шамбадала

СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ

Москва-1958

Биробиджанская областная
научная библиотека
им. Шолом-Алейхема
С/Б ГОР НАЦИОНАЛЬНО-
КРАЕВЕДЧЕСКОЯ И ЛЕГЕНДЫ

М. ГОЛЬДШТЕЙН

Лейтенант Гольдштейн пал смертью храбрых в августе 1943 года. Похоронили его где-то на Смоленщине, где именно — родные и друзья погибшего не знали. Через два с лишним года в списке бойцов и командиров, похороненных в братской могиле села Б. Захаровского, удалось обнаружить скупые сведения о Гольдштейне-воине, отдавшем жизнь за родину. В графе «Разные замечания» было написано: «При убитом найдена записная книжка с заметками на еврейском языке».

Эта незначительная, на первый взгляд, деталь очень характерна для творческой деятельности Гольдштейна: все, кому приходилось когда-либо встречаться с этим трудолюбивым и любознательным человеком, запомнили имевшуюся всегда при нем записную книжку, шитую из школьных тетрадей и заполненную меткими писательскими наблюдениями. Моисей Гольдштейн принадлежал к тем

литераторам, которые приходят в литературу из гущи жизни и пишут только об увиденном и пережитом. Таких, как он, М. Горький называл «бывалыми людьми», взявшимися за перо.

Недолгую, но и необычную жизнь прожил М. Гольдштейн. В Советский Союз он приехал в 1931 году из далекой Аргентины, где работал на трикотажной фабрике. В одном прогрессивном аргентинском журнале писали о Гольдштейне: «Скромно начал он свою писательскую и боевую деятельность. В борьбу он включился как делегат профессионального союза от трикотажной фабрики. И вел он эту борьбу честно, отстаивая права профсоюза, сам подавая, как рабочий, пример бескорыстия. Да и как писатель он начал честными зарисовками из рабочей жизни...»

На советском Дальнем Востоке Гольдштейн принимает участие в организации сельскохозяйственной коммуны на целинных землях. Новый, романтический мир окружал здесь бывшего аргентинского трикотажника: непроходимая и непокоренная тайга, мощь и красота Амура, зловещий отблеск самурайских штыков на близлежащей границе с Маньчжоуго, слава легендарной Волочаевки, замечательные люди — старые таежники и только что прибывшие переселенцы, вступившие в героическую битву с глухоманью... Гольдштейну потребовалось немного времени, чтобы освоиться с этой новой для него средой. За каких-нибудь два-три года он настолько с ней слился, что стал ее певцом! Свою повесть «Биробиджанцы на Амуре» он создал здесь же, на Амуре. В ней он описал будни той коммуны, в которой работал сам.

Автор запечатлел эпизод из трудовой жизни крестьян-новоселов — заготовку сена, ведущуюся группой переселенцев на отрезанном наводнением острове. Написан этот эпизод с подлинным волнением. Тяжелый и благородный труд преобразователей тайги романтизирован и показан как массовый подвиг. Несмотря на то, что в повести показана суровая дальневосточная природа и изображено стихийное бедствие — наводнение на Амуре, читатель полюбит таежный край, где действуют герои повести. К участникам сегодняшнего похода советской молодежи на целинные земли обращены слова одного из этих героев, бригадира Ривкина: «Ребята, выслушайте меня. Мы отправляемся на Амур. Каждый должен знать, что работа предстоит тяжелая... Нет, не хныкать мы должны, а трудиться».

Повесть заканчивается победой энтузиастов-косарей: сено скошено и заскирдовано, смертельная опасность, грозившая отрезанным на затопленном острове людям, миновала; сложился и окреп испытанный коллектив коммунаров, готовых к новым сражениям с дикой тайгой.

В остальных произведениях, входящих в этот сборник (за исключением двух последних рассказов, написанных на войне), тоже изображена борьба советских людей за освоение Дальнего Востока.

Каждым своим рассказом М. Гольдштейн как бы говорит читателю: работая в тайге, мы наталкивались на трудности, нередко допускали и ошибки. Но мы преодолевали эти трудности, исправляли ошибки. Новое дело требует больших усилий, большого мужества, честности и вдохновения в труде...

Когда грянула война с фашизмом, М. Гольдштейн ушел на фронт.

Мало, очень мало успел написать этот вдумчивый, талантливый прозаик, но его произведения сохранили свою жизненность и актуальность. Они, как и их автор, остаются в ряду действующей советской литературы.

Арон Вергелис



ПОХОД НА ВОЛОЧАЕВКУ

Лето было дождливое. Целыми днями над тайгой висели тяжелые облака. Переполнившиеся реки вышли из берегов и залили поля и дороги. В такие дни обитатели тайги ходили хмурые, и как только дождь успокаивался на день-другой, люди «запрягали руки» и работали задесятерых.

В один из таких дней, когда дождь хоть и не шел, но поминутно грозил обрушиться, в колхозе распространились слухи о том, что людям не хватит хлеба, а скоту — кормов. Резче, чем обычно, стали говорить в эти дни о плохой работе правления, о председателе, который занят «гигантскими

стройками» и забывает о повседневных делах, о том, что давно уже, до начала дождей, надо было переправить муку из волочаевских амбаров.

— Товарищ председатель, завтра нечего в котел положить, — порадовала повариха Хася председателя, когда тот появился на кухне. — Посмотрите, что осталось.

И показала полмешка ржаной муки. Лицо ее пламенело, а глаза впивались в председателя. Лейбман что-то сердито промычал про себя и выскочил из кухни.

Хася ударила себя по бедрам:

— Как он вам нравится, этот хозяин?

Она посмотрела в окно, последила, как он побежал вниз, к фермам, как развинченным и неуверенным шагом шел с сопки, и невеселая мысль мелькнула у нее в голове: «Какой-то он рассеянный, еще напутает бог знает чего».

Хася недовольно пожала плечами и отошла от окна.

Подойдя к сопке со стороны, ведущей к конюшне, Лейбман вдруг остановился. «Зачем я иду сюда? — спросил он себя. — И здесь, пожалуй, люди устроят мне такую же встречу, как Хася на кухне». Он хотел уже повернуть обратно, но что-то потянуло его к лошадям: «А вдруг удастся запрячь?»

Спокойно, совсем не по своему обыкновению, Лейбман отворил дверь и осторожно заглянул в конюшню. Лошади, почуяв человека, повернули головы и от обращен-

ных на него лошадиных глаз Лейбману сделалось не по себе. Он вошел в хлев. Лошади следили за ним и шевелили ноздрями. Перед ними были пустые кормушки. Лейбман подошел к лошадям, ощупал их опавшие бока и направился к выходу. Он как-то странно щурил глаза и виновато вертел шапку: «Вот так история, хоть сам запрягайся в воз!»

На пороге он наткнулся на Мотеля. Конюх шел с мешком за плечами. Немного растерявшись, он сердито скинул мешок на пол. Почувяв что-то неладное, Лейбман подошел к нему и крикнул:

— погоди, Мотель! Что ты делаешь? Что у тебя в мешке? — Он схватил Мотеля за рукав, но тот вырвался:

— Оставь! Лошади! — Он снова поднял мешок и, тяжело дыша, стал насыпать муку в кормушки.

Опорожнив мешок, Мотель кинул его Лейбману и прокричал:

— Нате! Болячка им, о лошадях не заботятся! Биробиджанские дожди проглядели! — Он тяжело дышал и рукавом вытирал лицо.

— Где ты муку взял, Мотель? — дрожащим голосом спросил Лейбман.

— Взял... взял... Не все ли вам равно, где взял... Украл, и все тут! — ответил Мотель и сплюнул.

— Но Мотель! Такое дело?

— Какое дело?

— Муку...

Лейбман все понял. Ведь когда Хася показывала ему оставшуюся в мешке муку, Мотель стоял у дверей кухни и свертывал сигарку. И вот на полу валяется пустой мешок.

Лейбман стоит как скованный, в голове у него проносится страшная мысль: что будет завтра утром, когда Хася обнаружит, что муки нет?.. Однако он сдвигает шапку на затылок и спрашивает неуверенно:

— Как ты думаешь, Мотель... А если запрячь гнедого и карюю клячу?

— И что было бы? — Мотель делает вид, будто ничего не понимает.

— Они перетащили бы парочку мешков муки из Волочаевки.

— По такой дороге?..

Мотель смотрит широко раскрытыми глазами, надвигает козырек фуражки, будто стараясь лучше разглядеть председателя, и молчит.

— Так как же ты думаешь, Мотель?

— С ума сошел? — бросает Мотель и направляется к лошадям. — Эх, лошадки, хозяевам бы вашим такую жизнь! Ведь сколько раз говорили о постройке конюшни — «сейчас же», «немедленно», да так разговорами дело и кончилось.

Лейбман, совсем уже расстроившись, вышел.

Лошади снова вылизывали последние остатки муки из опустевших кормушек. Мотель думал, где бы раздобыть немного корма лошадям, пока привезут что-нибудь из Волочаевки. Он достал из кармана ку-

сок газетной бумаги, оторвал клочок, насыпал махорки и скрутил сигарку. Сделал глубокую затяжку и, выпуская облако дыма, проговорил: «Ничего, покуда Мотель конюхом работает, лошадки от голода не помрут!»

Мотель схватил мешок и направился к соседнему колхозу: «Одолжат мешок овса, — ничего!» — весело думал он, дымя сигаркой и напевая что-то про себя. На дворе было все так же пасмурно, тучи нависли над тайгой и грозили каждую минуту упасть на землю проливным дождем.

Вечером было созвано экстренное собрание. Клуб переполнили старожилы с загорелыми, обветренными лицами. Мелькали и белые лица только что прибывших переселенцев. В зале было шумно и оживленно.

Собрание открыл секретарь партийного комитета, товарищ Лева.

— На повестке дня один вопрос...

— Жратва! — подхватил кто-то из задних рядов.

Широкое лицо Левы расплылось в улыбку. Он закончил коротко:

— Да, насчет жратвы... Слово предоставляется товарищу Лейбману.

В зале стало так тихо, что Лейбман даже побледнел. Он, как всегда, подошел к столику с записной книжкой в руке, с той самой книжкой, в которой были записаны планы «гигантов»... Одним глазом Лейбман заглянул в свои записи и обратился к собранию.

— Странное положение создалось, — начал он с вынужденной улыбкой на лице, — в Волочаевском амбаре лежат продукты, которых хватило бы на всю зиму, а здесь с продовольствием довольно таки неважно... Вот, к примеру, лежат там полтораста мешков муки, а у нас здесь завтра уже не из чего будет печь хлеб.

— Завтра? — слышался чей-то удивленный возглас.

— Чего же ждали? — поддерживает другой.

— Ждали? Нет, не ждали... Натолкнулись на трудности, биробиджанские трудности... — Лейбман пытался отделаться шуткой.

Но собравшиеся не давали покоя:

— А что конкретно сделало правление?

— Почему до сих пор не построена своя база?

— Какие меры предприняты для доставки продуктов?

— Правление занято...

— ...гигантскими постройками! — перебивают один другого.

— Надо писать в район!

— В Москву!

Лейбман чувствовал, что против него накапливается «порох», но он не ожидал, что этот «порох» уже сегодня взорвется.

Колокольчик в руке Левы надрывался.

— Дайте кончить! Все получают слово.

Нелегко было утихомирить разгорячен-

ных людей. Стихло, когда после нескольких слов Лейбмана, которых никто не слышал, выступил старый биробиджанец, конюх Мотель.

— Тихо!

— Спокойствие!

— Дайте говорить! — кричали колхозники один другому.

Мотеля любят. Все знают, как он увлечен работой, знают, что он человек простой, без задних мыслей — настоящий биробиджанец...

На Мотеле белая рубаша, подпоясанная тонким ремешком. Он тщательно умывает, прямые волосы аккуратно расчесаны на пробор. Девушки ревновали его друг к другу.

Мотель подтянул пояс.

— Ужасное безобразие, вот что! — Он замахнулся кулаком в воздухе, будто собирался ударить кого-то. — Четвертый год живу в Биробиджане, и ни разу еще не бывало, чтобы не хватало кормов. Если невозможно возить на лошадях, возят водой... Не могли до сих пор выстроить свой амбар? Но что делать, когда нашего председателя занимают только гиганты! Вот они вам, эти гиганты... Лошади стоят голодные.

— Что же ты предлагаешь? — перебил его Лева. — Скажи, что делать сейчас?

— Сейчас? Сию минуту?

— Да. Завтра нет ни хлеба, ни корма.

— Завтра? — Мотель обвел глазами со-

бравшихся и сказал: — Завтра выходной день. Люди свободны. Пускай они пойдут в Волочаевку за продуктами и перенесут их сюда.

Скамьи с грохотом раздвинулись. Поднялся шум.

— Пустяки... Предложил тоже...

— Полный амбар продуктов!

— Потонем в грязи!

— Как это, на плечах таскать? — спросил недавно прибывший переселенец, и в глазах у него отразились испуг и удивление.

— Пускай правление идет!

— Запряжется и тащит!

— Пусть все пойдут, и правление тоже!

Долго не стихал шум. Люди, стоя между скамьями, обсуждали работу правления и завтрашний поход на Волочаевку.

Эльманы — пожилая пара — последними спустились с сопки к реке. Колхозник, руководивший переправой, раскричался на них:

— Скорее, что ли! Выбрались наконец!

— Идем, Мейер, идем скорее, видишь, мы последние! — Бейля тащила мужа за рукав.

— Быстрее садитесь! Не видите, что ли, дождем пахнет!

Лодочник, схватившись за весла, пересек реку. Он наспех привязал лодку к двум

другим, прикрепленным к берегу, и весело крикнул:

— А ну, поворачивайтесь!

И зашагал по болотистой дороге. Эльманы поспешно следовали за ним.

Было тихое, хмурое утро. Тайга дымилась. Утренние ветерки гуляли по широкому простору, лаская дикие травы и листья вековых деревьев.

Тяжело было Эльманам догонять остальных.

— Скорее, Мейер, скорей, пойдем вместе со всеми, — упрашивала Бейля.

Выбиваясь из сил, ковыляли они по кочкам, торчавшим из болота.

— И к чему так торопиться? Что за спешка? — еле дыша, говорил Мейер. Наконец они подошли к задним рядам шагавших колхозников.

— О, реб Мейер!

— А, Бейля! И вы здесь?

— Идемте, идемте, пошли вместе!

Люди шли, растянувшись длинной цепью. Многие никак не могли прийти в себя после сна. Еще очень рано, но надо торопиться: небо заволокло, и каждую минуту может ударить дождь, который затопит все на свете.

Многим новичкам весь этот поход кажется странным и непонятным: целый поселок поднялся с места, люди собираются перетащить амбар продуктов, и не за версту, а за целых семь верст, да еще по кочкам, по грязной, размытой дождями дороге.

— Знаешь, Мейер, просто не понять, что здесь творится.

— Да, Бейлечка, трудно понять... Очень трудно.

— Я совсем по-другому представляла себе Биробиджан, — тихо говорит Бейля идущей рядом женщине, но Мейер услышал и пресекает разговор:

— Не стоит об этом говорить.

Брызнул дождик, но сразу же прекратился, точно повис в воздухе.

— Ой, дождь!

— Не пойти ли обратно?

— Ну, какой это дождь!

— Это на одну минуту.

— Сейчас пойдет настоящий.

Передние ряды ускорили шаг. Там идут люди с крепкими ногами, привыкшими ко всяким дорогам. Задним приходится приплясывать, чтобы не отстать. Мейер и Бейля пытаются идти в ногу с остальными, но очень скоро выдыхаются:

— Нет сил!

Эльманы — люди слабые. Старожилы смотрят на их лица, подернутые болезненным румянцем, и качают головами.

— А что, если бы вы не пошли? Думаете, вам бы вашей части не дали?

— Что-о-о? — произносят оба в один голос и вспыхивают.

— Хорошее дело — «не пойти»! Слыхали что-нибудь подобное?

— Вся сопка идет, а мы останемся?

Такого они, Эльманы, простить не могут.

Целый вечер готовились к этому походу, и вдруг — на тебе: «Зачем пошли?» Целый десяток новеньких мешков достала Бейля из ящика и отнесла к Лейбману: «Возьмите! Ведь у вас, наверно, не хватает. Они под сахар пригодятся, новенькие!» Она преподнесла эти мешки с пылающим от волнения лицом, как свой вклад в большое дело. И вдруг такое оскорбление!..

Однако обида сама собою рассеялась, когда в первых рядах запели песню. Перед глазами у Эльманов возникла во всем своем великолепии скульптура красноармейца на вершине Партизанской сопки. Окруженный колючей проволокой, с поднятой в руке винтовкой стоит боец, а над его головой звенит песня:

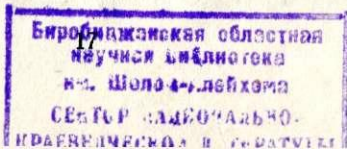
Дальневосточная дает отпор!..

Давно уже вставшие волочаевцы вышли из домов:

- Что за поход?
- В такую рань?
- Праздник сегодня, что ли?
- Неужто евреи решили уехать?
- Да нет... Но почему-то все с мешками.

— Куда это они?..

Волочаевка, которая помнит всякого рода походы, на этот раз удивилась. Жители улицы, ведущей в деревню, провожали глазами странное шествие, а марширующие все еще пели.



Мейер и Бейля тоже пели эту не совсем привычную для них песню. Плечи их распрямлялись, и ноги стали подниматься легче...

У амбара кипит работа. Быстро и ловко работают руки на пересыпке и завязывании мешков. Начальник станции пропустил поезд и подошел к Лейбману. Он покачал головой, словно желая сказать: «Ну и хозяева!»

— Пора бы уж собственную базу построить и возить хлеб с поля прямо к себе. Да и продукты, которые прибывают по железной дороге, тоже. Пора уже почувствовать себя хозяевами, — сказал начальник станции.

Лейбман промолчал. Он что-то записывал в свою книжечку, записывал и вычеркивал. В этот момент он даже не помнит, что говорили о нем вчера на собрании. Сейчас он занят приемкой муки и продуктов, и с каждым мешком, который выносят из амбара, он испытывает облегчение, будто огромная тяжесть постепенно спадает с плеч... Голова снова занята расчетами и планами на будущее, и он снова почти не замечает, что творится вокруг...

Конюх Мотель схватил мешок овса и хотел бежать домой.

— Чего еще дожидаться? — крикнул он. Но его остановили:

— погоди, Мотель, ты-то переправишься на тот берег, а кто вернет лодку?

Тогда Мотель скинул мешок и стал поторапливать людей:

— Скорее, скорее, сейчас дождь пойдет! — И принялся помогать.

А дождь и в самом деле мог начаться каждую минуту. Люди работали быстро. Мейер и Бейля подставляли свои новые мешки и просили, чтобы им насыпали сахару:

— Мешки новенькие, как раз для сахара, — говорили они, улыбаясь.

Когда опорожнили амбар, колхозники взвалили на себя мешки и двинулись в обратный путь. Теперь волочаевцы уже не удивлялись. Старые партизаны покачивали головами, словно приветствуя колонну. Женщины с изумлением указывали на стариков:

— Смотри пожалуйста, все идут.

— Это субботник, понимаешь? — объяснила девушка в красном платочке своей матери.

— Ох, и людей! — крикнул какой-то парнишка.

В первых рядах попробовали запеть, но пение тут же прекратилось.

Ускорили шаг. Погода подгоняла. На горизонте край неба был затянут серыми тучами. Сопки стояли с потемневшими головами, словно на них надвинули тяжелые шапки.

— Товарищи, давайте поторопимся! — доносилось из первых рядов.

Зашагали быстрее. Теперь уже не пры-

гали по кочкам, а ступали прямо по грязи, не разбирая дороги.

Лейбман шел с мешком на плече и с удовольствием видел, что люди все ближе и ближе продвигаются к сопке, по ту сторону которой находятся хлева, а в них — лошади, коровы, свиньи... Он глазами нашел Мотеля. Тот вымок, весь в грязи.

— А ты не хотел дать пару лошадей. Дорога, говорил, плоха?

— А что́, хороша, по-твоему, дорога?

— Сам видишь...

— Что вижу?

— Идут... — Лейбман смеется своей мало удачной шутке.

— Идут-то, конечно, идут, — отвечает Мотель, вытягивая шею, всю в синих жилах, — но будь на вашем месте настоящий руководитель, так и дорога была бы лучше.

— Вот как?

— Да, вот так! Будем ставить вопрос...

Он отвернулся.

Лейбман остановился, переложил мешок на другое плечо, подождал немного, и оказался возле задних рядов, в которых шли женщины.

— Что это вы отделились?

— А это чтоб вы не слышали, что мы о вас говорим! — отвечает повариха Хася.

Он подходит к ней поближе.

— Ну, теперь будет, что в котел положить?

— Спасибо вам, замечательный хозяин!

В другой раз, если останемся без продуктов, мы вас самого в котел положим!

Женщины недружелюбно поглядывают на Лейбмана и замедляют шаг.

— Сил больше нет ноги таскать!

— Казалось бы, мука, а на плече — точно камень лежит.

— В самый раз угодил! — жалуется новоприбывший переселенец.

— Видно, здесь будет веселенькая жизнь! — говорит одна из женщин.

Хасе это кажется обидным.

— А с чего вы взяли, что здесь плохая жизнь?

— А что, это, по-вашему, жизнь? Ноги пухнут по болотам тащиться.

— Не каждый же день так... Будет дорога, и не придется тащиться...

— Будет... Когда это будет?

— Когда поставим настоящих руководителей, — отвечает Хася и вызывающе смотрит на Лейбмана.

Женщина сдерживает вздох и молчит. Но Хася заметила это.

— Нечего вздыхать. Никого не принуждали. Субботник — дело добровольное. Кто хочет, идет.

— Вот как?

Хася смотрит на нее, словно ожидая конца незаконченной фразы, и говорит в сердцах:

— Такое бы мне счастье, какая здесь жизнь будет! И очень скоро! Не знаю, как

вы там у себя жили, но здесь у нас жизнь будет прекрасная!

Когда первые ряды подошли к реке, стало накрапывать. Небо, сплошь затянутое тучами, предвещало затяжной и обильный дождь. Задние ряды подтягивались к передним. Те подошли уже к реке. Люди снимали с себя верхнюю одежду и прикрывали мешки. Дождь постепенно усиливался и вдруг ударил с таким остервенением, будто хотел все сразу затопить.

Возле реки закричали. В задних рядах не могли понять, в чем дело.

— Почему не садятся в лодки? — кричала Хася, согнувшись от ветра. — Почему стоят под дождем?

— Ведь от продуктов ничего не останется!

— Добро губят!

Подойдя к реке, они услышали:

— Лодок нет!

— Как нет?

— Это чья-то проделка!

— Ой, мамочки!

— А крепко они были привязаны?

— Да ведь они здесь стояли!

Все перепуганы.

— Что же будем делать?

— Люди, чего вы стоите?

— Может, сложить мешки и бежать искать лодки?

— Куда бежать? Как бежать? Смотри, как хлещет!

Вперед вышел конюх Мотель, он подо-

шел к берегу, посмотрел вниз, потом наскоро отвязал мешок, поднял его над головой и крикнул:

— Здесь не глубоко, ничего! За мной, шагом мар-рш!

И тут же оказался в реке.

На минуту все притихли. Люди отпрянули назад, потом пошли вперед, к воде.

Следом за первыми по невидимой тропе, проложенной Мотелем, пустились остальные. Река бурлила и кипела. Люди молчали по грудь в воде и не замечали проливного дождя, который завесой прикрывал эту удивительную процессию.

Долго еще взбаламученная река кидалась на берега. Дождь продолжался.

Мейер и Бейля уже переоделись. Они сидели друг против друга, вытирали лица сухими полотенцами и дрожали. Только теперь, дома, они почувствовали пронизывающий холод.

— Знаешь, Мейер, это совсем непонятно, что тут творится! — сказала старушка, кутаясь в шерстяной платок.

— Да, Бейлечка, трудно понять! — вздыхал Мейер, задумчиво глядя в окно.

С верхнего этажа доносился звонкий женский смех и топот крепких ног...



БИРОБИДЖАНЦЫ НА АМУРЕ

Повесть

1

Первые места заняли косари-коммунары. — Сегодня мы именинники, — говорит, вскидывая голову, Берка. — Переселенцы могут пока что занять «почетные» места — у самой двери...

Новички-переселенцы пропускают мимо ушей шутку Берки. Они бродят по новой, просторной, только что открытой столовой, которая в сравнении с прежним закопченным углом в бараке кажется почти дворцом. Одетые в лучшее из того, что привезли с собою, переселенцы сегодня выглядят по-праздничному, но чувствуют себя еще

скованно. Их жены сегодня впервые достали из распакованных узлов выходные платья, уселись на задних скамьях и ждут, как гости на свадьбе, приглашения на танец.

Электричество горит сегодня будто ярче обычного и освещает веселые лица тех, кто пришел на вечер в честь косарей-коммунаров.

В зале большое оживление. Коммунары хохочут. Их кудлатые головы раскачиваются во все стороны. Окна столовой раскрыты. Сквозь белые марлевые сетки сюда врывается стук динамо-машины.

— Ребята, пора начинать! Давай! — командует Берка.

Ребята спохватываются: действительно, пора... Файвка засовывает два пальца в рот и резко, оглушительно свистит.

С пылающим от радости лицом прибегает Зелда-толстая. Она вскидывает полуобнаженные руки и кричит, широко улыбаясь:

— Чего это вы распрыгались? Или запах печения почуяли?

— «Клетрак»! — преподносит ей прозвище Файвка.

— Честное слово, она потащит, как «Катерпиллер»! — уверяет Берка, ударяя себя в грудь.

— Это ты руководитель бригады, Берка? Тебе такую бы долю, какой ты бригадир, Берка!

Ребята начинают болтать наперебой:

— Тебя бы в грабли или в косилку запрячь, за десятерых потащила бы!

— Я и без того буду работать больше вашего.

— Она у тебя в бригаде, Берка? — спрашивает старик Брейтер.

— Нет, у Ривкина.

— Всех лучших работников забрал Ривкин. Самых ловких отобрал! — горячится Брейтер. Он сидит в стороне и чувствует себя здесь чужим.

— Смотри пожалуйста, кто заговорил! Симулянт! — скорчив гримасу, замечает Зелда и отворачивается.

— Мне тоже дали неплохих работников, — отвечает Берка. — У меня — Фрид и товарищ Груня.

— Ха-ха! — мотнув головой, восклицает Брейтер. — Тебе партийных дали! А ты, стало быть, будешь там «спецом».

— А мне начхать!

— Ну, ты не очень-то чихай, — как бы на тебя не начихали!

Все вдруг оборачиваются и замечают Златкина.

— Златкин, ты? Святой комсомолец! За кого ты заступаешься?

— Он — за партийцев.

— Ведь он новый билет получил.

— Слышал, как он присягал?

Златкин посмеивается из-под козырька, переломленного точно посередине. Его конопатое лицо загорело, из-за расстегнутой рубашки выглядывает грудь, так же, как и лицо, покрытая веснушками. Златкин смеется, слушает эти шуточки, ему тоже

хочется что-то сказать в ответ, он ищет нужные слова и наконец находит их:

— Дудки! Так и дадут вам новые билеты! Вышибли вас из комсомола...

Златкин замечает, как одни лица улыбаются, а другие мрачают...

Мейер Рубин, парень интеллигентного вида, с бледным лицом, вот уже два дня ходит сам не свой. На сенокос его не записали, так как он недавно встал после болезни. Вот он и ходит, трет себе лоб: записаться или не надо? Сил, чувствует он, у него хватит. То, что он должен участвовать в сенокосе и что для коммуны это очень ответственная кампания, он тоже понимает. Рубин чувствует себя должником: ведь за все время пребывания в Биробиджане он еще не участвовал ни в одной кампании. Назначили его в бригаду по заготовке леса, а он испугался таежной зимы и отказался. На посевную пошел, но проработал восемь дней и сбежал с поля, заявив, что не приспособлен к такой работе и что не для этого он из Ленинграда приехал. Сейчас Рубин раскаивается, он хочет расплатиться за прошлые свои ошибки, расплатиться щедро, ощутимо. Он обязательно должен пойти на сенокос, но что-то мучит его. Рубин не боится трудностей: комаров, жары, — нет, этого он не боится! Его пугает только коса. Как он с ней справится? Никогда в жизни он ее даже в руках не

держал. Что же подумают о нем старые коммунары, знаменитые косари? Вот он и ходит повесив голову. Скоро начнется собрание, и он опоздает со своим заявлением, а заявить необходимо сегодня и именно на собрании. «Это произведет впечатление», — думает Рубин. Он выходит на улицу, отламывает от куста ветку, чтобы отгонять комаров, и прогуливается по деревянному тротуару возле дома.

Ночь хороша. Ароматная, прохладная ночь. Небо усыпано звездами. Рубин вспоминает, как в такую же точно ночь он приехал сюда. В то время здесь еще почти ничего не было, а сейчас весело постукивает динамо, на немногих только что установленных столбах горят электрические лампочки. На улице пусто. Он здесь один, ритмический шум машины успокаивает его, и ему уютно на сопке. Деревья и кусты, густо посаженные вокруг дома, наполняют воздух чудесным ароматом. Рубин вдыхает его полной грудью и чувствует себя сильным, крепким. Он любит эти места, Здесь вырастет город. До сих пор ему приходилось бывать в уже готовых городах. Сейчас город вырастает у него на глазах в глухой тайге. Он смотрит на электрическую лампочку. Она, кажется ему, уже теперь горит тысячью огней, рассыпанных по сопке. Он одним из первых ступил здесь ногой, корчевал пни, рыл ямы, месил глину, возил песок. А сейчас... У него сильнее сжалось сердце. Рубин остановился,

потер лоб, потом быстро зашагал к столовой. «Нужно спасти коммуны! Нужно косить сено!..» — Решение было принято мгновенно. Веселый и воодушевленный, вошел он в столовую. Собрание уже началось. За столом сидят Златкин — представитель комсомола и бригадиры — Ривкин и Берка. Ривкин читает социалистический договор обеих бригад и говорит о важности сенокоса в настоящий момент.

— ...В прошлом году не было сена, в нынешнем году сено должно быть! Погибнем без него!

Он впивается глазами в чье-то лицо на последней скамье и заканчивает громко:

— Нынче год... Это такой год... Решительный год... И на всем Дальнем Востоке... Надо укреплять границы!

Люди на скамьях всколыхнулись. Зазвенел колокольчик на столе.

— Наши границы будут укреплены, когда мы станем сильным форпостом!..

При этих словах Мейер Рубин вскакивает с места, но тут же садится. Он вспоминает о своем решении.

— Квартиры нужны, — продолжает оратор. — Здоровые кони!.. Молоко требуется! Свиньи жирные... Мясо нужно! Хлеб! Свой хлеб... Новые люди едут сюда из городов и местечек, едут строить новую жизнь... Семьдесят тысяч пудов сена надо заготовить... Будем укреплять... цементом...

Он останавливается, минутку молчит, на-

клонившись над столом, потом кивает головой и садится на свое место.

На задних скамьях шумят.

— Товарищ, запишите всех новых переселенцев! — доносится женский голос. — Всех, и мужчин и женщин. Да, да, запишите!

— Конечно, запишите! — раздаются голоса со всех сторон.

Ривкин прикладывает карандаш к кончику языка, кивает головой и улыбается новым переселенцам.

— А ты и вправду запиши. Посмотрим, как они будут косить сено на Амуре — эти молодцы! — восклицает Берка, и лицо его багровеет.

— Помолчи! — обрывает его, сердито глянув, Ривкин. — Слово имеет товарищ Рубин!

Рубин вскакивает и, идя к трибуне, начинает говорить:

— Создалось нездоровое положение, нельзя пройти мимо... Надо сказать, что отношение к новым переселенцам со стороны отдельных коммунаров...

Коммунары прислушиваются.

— Ведь вы же с посевной удрали! — кричит Файвка.

— Ведь вы же в лесу медведей боитесь!

Рубин меняется в лице, опускает голову, но продолжает:

— Некоторые коммунары смотрят на новых переселенцев, как на чужаков, которые пришли пожирать плоды их работы. Это

плохо, это парализует многих преданных делу работников. — Он переводит дыхание, трет лоб и просит, чтоб его занесли в списки косарей. — Я хочу работать наравне с лучшими! — говорит он, направляясь к скамьям. Его провожают аплодисментами.

— Кто еще просит слова? — спрашивает Ривкин.

— Хватит!

— Пускай подадут печение!

Ривкин поднимает руку. Вскочившие со скамей снова садятся.

— Ребята! — звенит его голос. — Выслушайте меня! Работать мы идем на Амур. Каждый должен знать, работа предстоит нелегкая. Луга еще затоплены, комарье кусать будет. Знайте же, что надо будет не стонать, а работать! Нам надо выполнить план, иначе коммуна останется без сена!

Коммунары аплодируют. Скамьи раздвигаются. Файвка засовывает пальцы в рот, но Мейер вовремя хватает его за руки. Оба смотрят друг на друга с озлоблением, но тут же разражаются хохотом. Все садятся за столы и пьют чай с белыми плюшками.

2

На рассвете коммунары втащили машины на баркас, и катер вывел его заливом на Тунгуску. Река вышла из берегов и залила окрестные поля. Сопка, вокруг которой строился городок, выглядит островом.

Единственный белый дом на ней утопает в зелени и кажется дворцом.

Всходит свежее, теплое солнце и освещает сопки.

Мейер Рубин сияет. Он озирается по сторонам и наслаждается:

— Что ты скажешь, Файвка, красота какая!

Файвка не отвечает. Он сидит на косилке, его голова медленно опускается на грудь, он поднимает ее и смотрит на воду.

Ребята, собираясь вздремнуть, укладываются на баркасе, устраиваются на косилках, на возах, на ящиках и бочках: прошлую ночь не спали. Пожилые люди, живущие по соседству со столовой, где происходил вечер, всю ночь стонали: «И откуда у них столько сил — всю ночь гулять?» Потом пришлось лезть в воду и основательно поработать, пока машины и возы были погружены на баркас и пока снарядили Ривкина и его бригаду, которая на лошадях отправилась к Амуру. Вот сейчас и отдыхают на возах, храпят на ящиках, а мотор хлопает по воде и тащит храпящий баркас.

Мейер Рубин и Файвка не спят. Оба сидят на косилках, смотрят на воду и молчат. Солнце сушит мокрые штаны на коммунарах. Файвка, которому на вид лет тридцать, а на самом деле не больше двадцати трех, одним глазом косится на Рубина.

— Скажи, пожалуйста, благородный юноша, почему у тебя штаны не мокрые? Ведь и ты в воду лазил? — спрашивает он, поглядывая на зеленые летние брюки Рубина и на его белую рубашку с открытым воротом.

— Вот они висят, мои брюки. Я надел другие, — неохотно отвечает Рубин.

Оба умолкают и снова косятся друг на друга. Файвка смотрит на причесанную голову Рубина, на его чистую и аккуратную одежду, на белую шляпу, а Рубин смотрит на помятую шапку Файвки, из-под которой висят пряди волос, на его плохо выбритое лицо, на расстегнутую рубашку и на мокрые штаны. «Не любит он меня», — думает Мейер, он это чувствует и во взгляде и в молчании Файвки.

Рубин склоняет голову на руку и после минутного раздумья начинает будить Файвку, успевшего задремать.

— Файвка, Файвка, послушай-ка!

— Не мешай спать! — ворчит Файвка.

— Успеешь выспаться, день велик. Скажи, ты давно в коммуне? Ведь ты, кажется, один из первых биробиджанцев?

— Четыре годочка, — отвечает Файвка, не открывая глаз.

— На сенокосах бывал здесь?

— Четыре раза.

— И хорошо умеешь косой работать?

Вместо ответа лицо Файвки расплывается в улыбке. Рубин уже слышал, что Файвка лучший косарь, что его никто до-

гнать на косьбе не может, и Мейер думает, как хорошо было бы ему сравняться с Файвкой, показать, что и он на что-то годится, тогда уж никто не скажет, что он здесь только гость. Рубин повторяет мысленно ответ Файвки: «Четыре раза», — и думает, что ему, учившемуся одно время в техникуме, но никогда в руках косы не державшему, непременно надо с ним сравняться. Он закусывает губу и снова обращается к Файвке:

— Давай заключим соцдоговор!

— Что такое?

— Социалистический договор!

— О чем? — спрашивает Файвка.

— О том, что за эти две недели мы сравняемся, хоть ты уже четыре раза работал на сенокосе и считаешься лучшим косцом в коммуне, а я косы в руках не держал.

Файвка выпрямился, открыл второй глаз и оглядел Рубина с головы до ног.

— Эх! — воскликнул он, спрыгнув с косилки. — Давай руку, благородный юноша, пиши договор!

Мейер Рубин сел писать.

Днем, когда катер уже пересекал Амур, а вдали виднелся Хабаровск, коммунары обсуждали договор между Рубиным и Файвкой. Все были уверены, что Рубин проиграет. Берка подшучивал:

— Не выдержишь. Ведь ты никогда сена не косил! В машинках да в моторчиках ты еще можешь кумекать, а на Амуре...

— Пускай себе, не все ли тебе равно,

Берка! А вдруг он одолеет? Ты не забывай, что он из Ленинграда приехал, а не из Монастырщины. Кто знает, а вдруг... — притворялся спокойным Файвка.

Берка стоял с горшочком сметаны в руках и весело поглядывал вокруг маленькими глазками. Он обмакнул кусок хлеба в сметану, сунул его в рот и проговорил:

— Тихо, тихо! Знаете что? Договор этот надо напечатать в газете, в «Биробиджанской звезде»! Пусть все будет, как полагается, не просто клочок бумаги...

Он вызывающе смотрел на Рубина.

— Хорошо! — согласился Рубин. — Хорошо, можно напечатать. Договор — это не просто бумажка, ты прав, Берка, прав!

На Рубина смотрели как на человека, который опростоволосился.

— Ты, наверное, не выспался! — сказал Берка с усмешкой.

— Нет, не спал, — отрубил Рубин.

— А лучше бы поспал, — закончил Берка.

Рубин куском хлеба вымазал остатки сметаны со стен горшочка.

Катер тяжело дышит. Издалека приближается большой железнодорожный мост.

— Ох, и мост! Смотрите, какой большой!

— В Америке есть такой мост? — спрашивают ребята у Манна, человека, побывавшего в Америке и рассказывавшего массу историй об этой стране.

— Конечно, имеется.
— Такой громадный?
— Даже больше.
— Больше? Ведь этот длиною три километра!

— В Америке есть и подлиннее.

— Но и этот громадный, — настаивает Златкин.

— Ну конечно, этот мост тоже один из самых больших в мире.

— У нас и побольше будут. Мы построим самые большие в мире мосты...

Манн улыбается.

— Да, да, не смейтесь, обязательно построим, — горячится маленький Брейтер и смотрит на отца, чтобы и тот сказал что-нибудь.

— Чего ты споришь? — говорит Брейтер-старший. — Человек был в Америке, он, наверное, лучше тебя знает.

— Америка, Америка, — пренебрежительно повторяет Брейтер-младший, — мы перегоним Америку! Читал газеты?

В Орловку коммунары прибыли к вечеру. Рыбаки сидели на берегу и сушили сети. Жители вышли из домов, но холоднее, чем в прошлые годы, приняли коммунаров. Лопатин, старый рыбак с белой бородой, сердился на них, как дед на внуков, когда те необдуманно пускаются в опасный путь.

— Какой черт вас принес после полово-

дья? Остров и так весь в воде, а впереди еще наводнение.

— Вода спадает, дядя Лопатин, — сказал Фрид — уполномоченный партийной ячейки коммуны.

— Да-а, спадает... Спадает по сантиметру в сутки. Сиди и жди, пока она спадет, а там ее на целый метр...

— Так ведь она с каждым днем все сильнее спадать будет. Мы в городе были, на станции справлялись.

— Станция две недели назад то же самое говорила, а вода до самых домов добралась, — стоял на своем Лопатин.

— Раз станция говорит, значит так и будет! — неожиданно раздался молодой голос младшего Брейтера.

Брейтер-старший обернулся, ругнул его приглушенным голосом и дернул за рукав:

— Пошел, молокосос, не вмешивайся! Если старый рыбак говорит, стало быть, он лучше знает.

И он яростно заскрежетал зубами.

Коммунары стояли на берегу и молчали. Они чувствовали себя, как люди, приехавшие на ярмарку и узнавшие, что ярмарка не состоится.

Фрид и Берка отошли в сторонку, за ними пошли Рубин, Златкин и Груня. В крайисполкоме, в Хабаровске, их предупредили: остров затоплен и возможно, что там косить не удастся. Им предложили остров Тарабаровский, расположенный у Маньчжурских гор.

— Сейчас ехать туда невозможно, — говорит Берка.

Фрид и сам понимает, что сейчас ехать нельзя. Надо посмотреть, как выглядит остров Алешин. Может быть, там есть места, где можно косить сейчас, пока вода не спадет.

— Алешин лучше, — говорит Златкин. — Он ближе, зимой оттуда легче будет везти сено.

— В таком случае оставим катер до завтра, а утром съездим и посмотрим, как там на острове, — советует Фрид.

— Катер надо сейчас же отослать: в коммуне нет ни хлеба, ни товаров, а в Хабаровске их выдают, — возражает Берка.

— А машины и лошади?

— Это мелочь, — говорит Берка. — Надо вызвать из Хабаровска катер, он перевезет и машины и лошадей.

— Так ведь много времени уйдет! — беспокоится Груня.

— Вы все здесь в первый раз. А я уже четыре года на Амуре. Катер приходит через три-четыре часа после вызова. Мы отошлем его с продуктами! — тоном приказа сказал Берка, чувствуя, что сейчас его слово будет решающим.

Баркас пришвартовали к берегу в Орловке, а катер вернули в коммуну.

Наступила ночь. Коммунары разложили на берегу костры — отгонять комаров.

Берка бродил по берегу от костра к костру, нюхал дым и смеялся над теми, кто

прятал голову от комаров. Он не знал, как быть: то ли ему, как бригадиру, переправиться через Амур и посмотреть, что делается на Алешином острове, то ли ждать, пока прибудет второй бригадир — Ривкин, который должен доставить лошадей... Вот он и бродит и, почесывая голову, поглядывает на широко раскинувшийся и вскипающий белыми пузырьками Амур... На что решиться?.. А впрочем, наплевать ему на все! Надо идти поспать. Он уходит с берега и направляется к дому Лопатина: там пекут хлеб для коммунаров.

— Спокойной ночи, Берка! — кричат ему вслед ребята.

— Все будет хорошо, не беспокойтесь! — отвечает он и исчезает в дверях.

3

Коммунары лежали на берегу, укрывшись с головой. От тлеющих костров тянулись вверх струйки дыма. Некоторые храпели в мешках. Кругом жужжали комары. Берка стоял без шапки, заложив руки в карманы, и смотрел на тропинку, тянущуюся вдоль берега среди высокой травы. Он не мог спать и всю ночь промытарился на топчане у Лопатина на кухне. Несколько раз выходил на улицу, смотрел на тихий, неподвижный Амур, и казалось ему, что река срывает берега, бурлит и неистовствует.

Не в первый раз приходится здесь бы-

вать Берке. Уже четыре лета звенит он в этих местах косою, но никогда еще эта работа не была ему так не по душе, как сейчас. Бывало, пройтись с косою доставляло ему радость, сложить еще одну копну сена — удовольствие. . . Он видел, как растет коммуна, как вместо одной лошади становится четыре, вместо трех коров — десять. . . Теперь хозяйство разрослось: конюшня полна лошадей, коровник полон коров и телят, много свиней. Вырастают новые дома, расширяются амбары, появляются новые машины, тракторы. . . Но Берка этого не видит, вернее, не хочет видеть, его это не трогает: ему ничего от этого не прибавит. Раньше он был в коммуне фигурой: «Берка Сапирштейн, первый председатель коммуны», потом — управляющий. А сейчас — едва бригадир, а вскоре, наверное, и того не станет». Он это чувствует, его и так уже почти не замечают. «Эх, надо плюнуть на все и переехать на другое место. Биробиджан велик, земли здесь хватает, бери, сколько угодно. . . Тоже, понаехали со всех концов», — думает он, глядя на ребят, лежащих на берегу, и сплевывает.

Ранним утром послышался топот лошадиных копыт. Топот приближался, и среди высоких трав начали выделяться силуэты всадников. Первым ехал Ривкин. Он обхватил Сокола своими длинными ногами, уздечку держит в левой руке и покачивается в седле. У Ривкина шапка на затылке, рубашка расстегнута. Он указывает рукой

на Берку и что-то сердито говорит едущим позади.

Топот копыт будит всех. Ребята потягиваются, сбрасывают с себя мешки, а некоторые только высовывают из них помятые физиономии.

— Эй, ребята, что разлеглись? — кричит Ривкин, спрыгивая с коня. — Где катер? Почему не переехали на остров? Амур косить собираетесь? Чего это вы здесь валяетесь, по какому случаю дрыхнете?

Он подбегает к тем, кто лежит еще в мешках.

— Берка, чего это они валяются? По какому случаю разлеглись? Почему зря время тратят? Такие дни стоят, каждый час — золото!

Берка дуется. Он чувствует себя в чем-то виноватым, но не хочет этого показывать и даже сердится:

— А что я мог сделать? Высушить воду на острове?

— А откуда известно, сколько там воды?

— Лопатин говорит, все рыбаки говорят, что на метр.

— Они говорят! — не унимался Ривкин. — Самому посмотреть надо!

Он закусывает губу от злости, смотрит на потягивающихся ребят, на баркас, что привязан к берегу, и задумывается. Потом говорит сердито:

— Черт бы тебя взял, бригадир задрипанный! Катер отпустил, теперь расстели юбку жены и шагай по ней через Амур!

— А ты бы его за хвост придержал! — ворчит Берка и входит в хату Лопатина, где весело потрескивает печка.

Солнце начинает вылезать из воды. Чуть подальше от берега, на плоту, усаживаются Ривкин, Груня, Фрид, Рубин и Златкин — партийцы и комсомольцы. Ривкин все еще сердит. Он спрашивает:

— Зачем отпустили катер?

— Коммуна осталась без продуктов и без товаров. Необходимо было отвезти, — отвечает Фрид.

— Никто бы не умер от того, что товары придут на день позже. Теперь знаете, сколько мы будем стоять у берега, дожидаясь катера? Сейчас, в такое время!..

— Берка говорит, что всего несколько часов, — оправдывается Фрид.

— Что? Сколько? Кто говорит? — срывается с места Ривкин. — Берка говорит? Эх!..

Он сжимает губы и молчит. А скулы так и ходят, и все лицо его пылает от гнева. Фрид видит это и пробует его успокоить:

— Ты не злишь, Ривкин. Этим делу не поможешь. Раз мы пришли посоветоваться, так давайте...

— Надо позвать Берку, — говорит Груня.

— Да ведь он же беспартийный, — возражает Златкин.

— Он пока еще бригадир, — отвечает Фрид.

Берка пришел насупленный.

— Ну, значит, так, — говорит Фрид, — особенно распространяться нечего, надо выяснить, каково положение на острове, и все тут.

— Чтоб зря не тратить времени, — перебивает Ривкин, — надо отправиться сразу на оба острова, — тогда за один день узнаем, как обстоит дело.

Берка не согласен:

— Пускай поедут на Алешин остров, он ближе. Зачем посылать две лодки с людьми?

— А люди пусть лучше поспят... — саркастически заканчивает Ривкин.

Решено было ехать на оба острова: Ривкину и Златкину — на Алешин остров, Фриду, Рубину и Берке — на Тарабаровский. Груня остается с лошадьми. Решено.

Вскоре лодки отделились от берега и потянулись по Амуру.

Отъехав, Ривкин встал в лодке:

— Эй, ребята! Отбейте косы и насадите их!

Отбивать и насаживать косы умели не все. Даже среди тех, кто уже бывал на сенокосе, некоторые не умели насадить косу так, чтобы острие не лезло в землю. Это умели только один-два человека из старых коммунаров, в том числе и Файвка. Он-то хорошо знал, что такое настоящая коса. Вот и стоит он все утро, звенит косами, улавливая ухом звон стали. Одна коса уже отложена в сторону, он пробует

другую. Файвка углублен в работу. Нынче он осторожнее при отборе кос, чем когда-либо, он ищет, смотрит, проверяет. «Надо соревноваться, — думает он, — ленинградец меня вызывает... — и мысленно улыбается. — Эх, благородный юноша, руки коротки!» Отобрав две косы, Файвка начинает отбивать их, и над Амуром раздается веселый звон.

— Смотри пожалуйста, лучшие косы себе отобрал! — кричит старший Брейтер.

— Зачем ему две? Себе готовит две, а другому — ничего?

— Файвка, на что тебе две косы?

— Одна мне, другая жене, — отвечает он, стуча молотком по лезвию.

Отбив обе косы, он начинает их натачивать. Подходит к воде, смачивает точило и водит им по жалу косы.

— Острые! Бритвы, а не косы! — говорит он тем, что стоят рядом и тоже натачивают. — Бриться можно будет...

— Ты готовишь две, я тоже две приготавливаю, а вдруг одна сломается!

— Делай, — отвечает Файвка. — Только у меня не ломаются.

Рукоятки он тоже отобрал две — гладкие, ровные, с хорошо пригнанными ручками. Он вставил их правильно: ручки — на уровне пояса, косы направлены чуть вкривь, чтобы острие не глядело в землю, хорошо заклинил, еще раз провел точильным камнем по жалу и, когда все было сделано, вскинул обе косы на плечо и на-

правился к лужайке за гумном у Лопатина. Там он провел рукой справа налево, и коса распелась — «джен-н-н, джен-н, джен-н». Он прошел порядочную часть лужайки, не пропустив ни травинки. Испробовал и вторую косу, на обратном пути снова подправил их на точиле и пометил обе палки: на одной вырезал «Файвка», вторую не тронул... Обе косы повесил на дерево и крикнул Зелде:

— «Клетрак», можешь уже кормить?

— Сейчас будет готово! — ответила та из-за облака дыма.

День был на исходе. Надвигалась ночь с синевой и свежестью. Комары распелись громче, ярче разгорелись костры, окутывая дымом головы коммунаров.

— Ох, — вздыхал старший Брейтер, высокий и крепкий, словно дуб. — Ох, капельку бы дыма! Ведь они жить не дают! Как это вынести? Хуже, чем в аду!

Он совал голову в дым — как в бане лезут в пар.

— Канюка старая! — сплюнул Файвка. — Выдержать не может, — комар укусил... Канючит...

— Комар, говоришь, укусил! На, смотри! — И старик показывает расчесанную шею.

— Тьфу, старая калоша! Это вши тебя кусали!

Брейтер не переставал стонать и все совал голову в дым.

— Ой, не выдержу! Черт занес меня сюда!

— Эх вы, переселенцы! — произнес кто-то. — А помните двадцать восьмой год?

— Какое это имеет отношение к нам? — спрашивает Брейтер. — На производстве комаров не было, там спокойно работали.

— Хорошо, что тебя там не было! — смеется Файвка.

— А что, не проработал я двадцать лет на производстве? Быть бы мне так отцом своим детям! У меня даже ударная книжка есть, пусть мой байструк скажет, спросите у него!

— Слышь, байструк, правду старик болтает? Говори! — Файвка тянет мальчонку за короткие штанишки, ухватив заодно кусок мякоти.

Маленький Брейтер визжит от боли и трет ущемленное место. Он сердито поглядывает на Файвку и с озлоблением — на отца.

По тропинке вдоль берега идет Груня с длинной палкой в руке. После каждого шага она наклоняется и почесывает ноги, покрытые белыми волдырями.

— Груня, не расчесывай! — кричат ей ребята. — Натворишь себе делов! Пусть едят, Груня! Комарики бедные целый год тебя ждали...

— Пускай едят! За мой счет!

Она подходит к костру и садится поближе к дыму.

— Ого! Ты основательно искусана! Где это ты была?

— С лошадьми, где же мне быть! Брыкаются, как дикие!

— Да-а, — женщина... — качает головой старик Брейтер и смотрит слезящимися от дыма глазами на ее искусанные ноги.

— А что, товарищ Брейтер, женщина — не человек? — с улыбкой спрашивает Груня.

— Упаси бог, кто говорит... Но такая работа... Трудновато, пожалуй... Или нет?

— Ну, в таком случае, товарищ Брейтер, может быть, вы потрудитесь и пойдете на всю ночь стеречь лошадей, чтобы они не разбежались? Как вы полагаете, товарищ Брейтер?

При этом она весело обводит всех зеленатыми глазами.

Но вместо того, чтобы ответить, Брейтер принимается перевязывать платок на голове, подсаживается поближе к дыму и начинает стонать, как женщина во время схваток...

— Ну, ребята, надо установить дежурство при лошадях, — серьезно предлагает Груня, — по два часа.

— Ладно, давайте записывать.

— На первые два часа запиши меня! — заявляет Файвка.

— На вторые — меня! — говорит младший Брейтер.

Старик Брейтер вскакивает, расстеги-

вает поясок на брюках, закидывает его на шею и убегает за гумно.

Перед рассветом комары становятся еще злее, кусаются нестерпимо, к тому же к ним прибавляется мошкара и мокрец. Старый Брейтер лежит на поле, вокруг него горят костры.

— Погибели нет на эту девку! Записала бы хоть на первые два часа, так ведь я бы сейчас мог спать. Ах, черт ее поberi! Лошадей я ей стеречь буду! Дудки! — говорил он, не высовывая головы из мешка. Ватником он укрыл ноги и, не переставая стонать, задремал.

Лошади разбрелись в разные стороны, залезли в кусты, в высокую траву, стояли у воды и хлестали себя хвостами по бокам, вскидывали головы, поднимали копыта к животам, отгоняя комаров. В последние два часа никто их дымом не окуривал, и они пошли бродить по полю, ища спасения от комаров.

Когда Груня пришла сменить Брейтера, было уже совсем светло. Лошадей она не нашла, а у тлеющих костров она увидела Брейтера, спящего в мешке.

Груня постояла минутку, посмотрела на него и улыбнулась. Руки она держала в карманах брюк, а поясок, который стягивал талию, делал ее фигуру еще стройнее и моложе. В это солнечное утро она казалась ясной и озорной. Она стояла и улыбалась, глядя на ворох тряпья, лежавшего у ее ног. Что же делать с храпящим

Брейтером? Устроить ему что-нибудь этакое...

Она поплясала вокруг него на кончиках пальцев, быстро убрала дымящиеся поленья, затерла ногою искры и ушла с головнями в руках к середине поля. Там она раздула огонь, а когда поленья вновь задымили, пошла собирать лошадей.

Собрав лошадей, она побежала к Брейтеру. Груня бежала и прикрывала рукою рот, чтобы громко не смеяться. Ей нравилась шутка, которую она задумала сыграть с Брейтером. Она бежала по тропинке, но вдруг остановилась и задумалась. Улыбка постепенно исчезла с ее лица.

«Нет, — покачала она головой, — это будет плохой пример», — и вернулась. Она хотела распороть мешок, в котором прятался Брейтер, и напустить в него комаров... Но теперь Груня раздумала. Она подошла к старику и стала тормошить его:

— Товарищ Брейтер, идите домой, я пришла вас сменить.

— А? — всполошился он. — Сменить? Я только что задремал, не спал... А где же дым, где лошади?

— Вон он — дым, и лошади там, — кивнула Груня головой.

Брейтер, обеими руками расчесывая волосы, рыскал глазами по полю. «Как туда попал костер?» — думал он, зевая, и проговорил вслух:

— Ах, ты, пропади она пропадом!

— Кто? — улыбаясь спросила Груня.

— Да это я насчет комара... Всю шею мне искусал... — ответил Брейтер и направился к лошадям.

— Нет, с лошадьми останусь я. Идите домой, товарищ Брейтер. Идите, уже готов завтрак. Стыдно вам все-таки! Хорош коммунар! Лошадей, наше достояние, бросили на произвол судьбы и легли спать. Стыдитесь!

Брейтер потащился по тропе, качая головой и бормоча:

— Мое достояние... Ей бы не больше иметь...

Груня пошла к лошадям. Дым редел, и лошади начали отходить от огня. Сокол побежал к берегу.

— Куда? Сокол, куда? — крикнула она.

Сокол остановился, повернул голову и смотрел на Груню просящими глазами.

— Чего ты, Сокол? — Она похлопала коня по шее. Он повернул голову к берегу и пошел к воде.

— Ах, ты пить хочешь! — спохватилась она и погнала лошадей к реке. — Н-но, коники, пить, вьо!..

Отбитые и наточенные косы висели на деревьях. Каждый берег свою косу, как солдат — винтовку перед боем.

В полдень на Амуре показалась первая лодка с Алешина острова. Медленно шла она по воде, лениво и устало шлепали весла. Ребята закричали:

— Едут!

Лодка подошла к берегу, и коммунары были поражены видом Ривкина и Златкина.

— Что-нибудь случилось?

— Смотри, как они выглядят!

— Без сапог!

— А вымазались как!

— Вот горе-то, куда забрались!

А те спокойно привязывали лодку и притворялись, будто ничего не слышат.

— Зелда, дай чего-нибудь поесть! — сказал Ривкин, вылезая на берег.

Зелда подала хлеб, суп и по куску свинины.

— Зачем тратишь булку, ведь еще работать не начинали! — заметил Ривкин.

— Ешь, ешь, — одни ничего не делают, а другие из сил выбиваются.

— А едят тем не менее все! — подхватил Златкин, улыбаясь.

— Видали святошу? Уже и поесть нельзя! — проворчал старик Брейтер.

Парни набросились на еду. Оба были с головы до ног в грязи.

— С Тарабаровского еще не вернулись? — спросил Ривкин.

— Нет еще, — ответил Файвка, глядя ему в рот: «Что он расскажет?»

— Скоро, наверное, приедут. Надо быть готовыми к переправе. Косы в порядке?

— Готовы! — сказал Файвка, поглядывая на ноги Ривкина: одна босая, другая

в сапоге со спущенным гармошкой голенищем. — Слышь, ты, а где второй сапог?

— Оставил.

— Почему?

— Тонули.

— Тонули?

Коммунары вскочили с мест, смотрят на Ривкина и с открытыми ртами слушают его рассказ:

— Переночевали мы в лодке. На рассвете вышли на остров и пошли. Воды — по колено, а местами и глубже, есть и сухие места — небольшие участки. Травы стоят высокие, выше головы. Идем мы, а остров огромный, только вода кругом. «Ничего тут не сделаешь!» — говорю. Но Златкин уходить не желает. «Вот сухой кусок!» — показывает. Идем туда, лезем в воду. Трава по лицу хлещет, а комаров — тьма! Еле добрались до этого куска и только сунулись — бац в воду! Выскочил я кое-как, смотрю — Златкина нет! «Вот те и на!» — думаю. Однако слышу: «Пах-пах!» «Ривкин, — кричит он, — у меня полны сапоги, вниз меня тянут!» — «Скинь! — кричу. — Ногами сними!» И сам в это время один сапог скинул с ноги, а второй мне тесен, не могу снять... На-ка, Файвка, сними!

Файвка подтянул поясок, поплевал на ладони и потащил Ривкина по земле.

— Держись!

— А ты его к дереву привяжи!

— Не пойдет сапог, мокрый.

— Не тащи! — кричит Ривкин. — Ты мне ногу оторвешь!

— Разрежь сапог — и дело с концом! — советует старик Брейтер.

— Давай нож, Зелда!

— Жалко! Высохнет и снимется, — говорит Ривкин, глядя на сапог.

— Балда! — кричит Файвка, хватая нож. — Вспори шов сзади! На нож! Сапог как куколка!..

Ривкин поднялся.

— Ну, ребята, надо готовиться к отъезду.

— На какой остров едем?

— На Тарабаровский. На Алешином косить не будем.

— Он уже едет! — ворчит Брейтер. — Только что смерти в глаза глядел и опять лезет!

— Да, да, товарищ Брейтер! Биробиджан — это вам не игрушка!

— Ну и местечко! Выискали-таки страну для нашего брата! — кричит старик.

— Будет, будет, товарищ Брейтер! Еще годик-другой и на нынешних болотах зацветут виноградники. Что большевики порешили, то непременно будет! — говорит Ривкин, шагая босиком по траве.

Брейтер смотрит на этого «пришельца с того света» и никак понять не может, чему тут, собственно, радоваться. «Черт меня занес в эту треклятую тайгу! Ничего лучшего для нас найти не могли», — думает он.

— Кто с лошадьми? — спрашивает Ривкин.

— Груня.

— Ее сменить надо.

— Иду! — кричит Брейтер-младший и бежит по тропе к полю.

— Всюду лезет первый, провалился он! — прошипел старик. — От горшка два вершка, а всю ихнюю премудрость уже постиг! Лезет в огонь и в воду!

«Всю премудрость» он еще не постиг, этот пятнадцатилетний парнишка, но идти за нее в огонь и в воду он действительно готов.

В сумерки на Амуре показалась лодка с Тарабаровского острова. На берегу уже горели костры, и клубы дыма разгоняли комаров. Коммунары собирались залезать в мешки, когда неожиданно вернулись с поля Ривкин и Груня. Ривкин крикнул:

— Ребята, вылезай из мешков! Ехать надо.

— Ехать?

— Ночью?

— Да, да, ехать, ехать!

— Что значит «ехать»? Послушаем сначала, можно ли там косить, а то вдруг пожалуйста: надо ехать... — Брейтер залез в мешок и уже там закончил свою мысль.

Ребята вылезли из мешков и следили за лодкой, которая приближалась к берегу. Лодка скользила по неподвижной глади реки, и всплески весел все явственнее слы-

шались на берегу. Луна шла следом за лодкой и наткнулась на берег.

К берегу натаскали сена и разожгли костер. Густое облако дыма клубилось над головами и било приятной горечью в лицо.

Лица приехавших с острова были искушены и распухли, глаза — красные, заплавленные.

— Ох, и задали же нам комары! — пытается улыбнуться Фрид. — Их там миллиарды! Наловить полный котелок на обед — ничего не стоит!

— Нашел, чему радоваться! Ты лучше в зеркало взгляни, — от страха умрешь! — качает головой Брейтер.

Все смотрят на лица Рубина и Фрида, которые за эти два дня изменились до неузнаваемости. У Рубина лицо красное и распухшее, будто его отхлестали крапивой. Файвка смотрит, и широкая улыбка расплывается у него по лицу.

— Благородный юноша, ты своим человеком, оказывается, становишься! — говорит он.

Подходит Ривкин и отзывает Рубина и Фрида в сторонку.

— Устроим заседание?

— Собрание надо созвать!

— Надо решить, что делать.

— Зачем мы здесь сидеть будем?

— Надо вернуться в коммуну!

— Как это «вернуться»? Ведь работать приехали.

— Работать? — вмешивается Брейтер. —

Полюбуйся лучше на их рожи, а потом скажи, как это мы будем работать?

Файвка покосился на него и сплюнул.

— Надо спать ложиться, — решает старик.

— Погоди немного, отец.

— Ты, байструк, снова в воду лезть готов!

— Если прикажут...

— Если решат, то поедем! — крикнул кто-то из-за «дымовой завесы».

— Послушайте, ребята! — заговорил Ривкин. — На Тарабаровском можно косить. Семьдесят тысяч пудов снять можно. Есть залитые места, но пока вода спадет, можно косить на высотках. Скверно, что, пока придет катер, нельзя пустить в ход машины. Утром кого-нибудь отправим за катером. Ну, ребята, надо ехать, каждый час на счету! Уже пять дней, как мы сидим здесь, а кос даже и в руки не брали. Жаль времени. Дни стоят солнечные, погожие. Ну, ребята, собираемся, сейчас только семь часов.

— Семь?

— Хороши «семь»!

— Взгляни на луну!

— Ну, восемь или девять. Ночь-то светлая. Часа через три-четыре будем на острове. Поедут не все. Человек двадцать. Остальные приедут завтра, когда вернутся лодки.

— Стало быть, поехали! О чем разговор? — вскочил Файвка и подтянул пояс.

— Зелда, собирай кухню! — приказал Ривкин.

— А для тех, кто остается? — всполошился старик Брейтер и даже чуть не вылез из мешка.

— Те, кто остаются, приедут завтра! — услышал он ответ Ривкина.

Ребята собирали узлы и укладывали их в лодки. Каждый снимал с дерева свою косу. Только тут Рубин спохватился, что у него косы нет. Торопясь с узелком в лодку, он вдруг остановился в недоумении: может, взять из тех кос, что заготовлены про запас, но он не знает, какая из них лучше, а ведь ему нужна коса не хуже, чем у Файвки.

— Ривкин! — крикнул он. — Выбери мне косу! Завтра я соревнуюсь с Файвкой!

Но вместо Ривкина подошел сам Файвка. В руке у него была коса.

— Возьми, товарищ! Бритва! И давай соревноваться! Сделай пометку, чтоб не утащили.

Рубин остановился с косою в руке и удивленно смотрел на Файвку, направлявшегося к лодке.

Луна скользила следом за лодками, шедшими гуськом вверх по реке. Тихо было на Амуре. Тихо стояли пограничные берега, и только кусты порою шелестели листьями.

Ночь. Тишина. Холодный свет луны серебрит лица. Глаза устремлены на противоположный далекий берег, у которого надо остановиться.

Четыре пары весел согласно гребут воду. Двадцать пар глаз напряженно смотрят в темноту, двадцать сердец взволнованно бьются.

Файвка вместо того, чтобы, как обычно, засунуть два пальца в рот и свистнуть, затягивает знакомую всем песню:

У китайцев генералы —
Все вояки смелые!..

Голос его плывет по Амуру и натывается на пограничные берега.

— Тиш-ш-ше! Пограничная охрана близ ко...

Файвка умолкает и вместе со всеми вглядывается в приближающийся берег.

4

На рассвете встали после бессонной ночи, так как комарье налетело на коммунаров, как на долгожданных гостей. Тем не менее бригадир Ривкин прокричал:

— Ребята, пора вставать на работу!

Земля, казалось, горела под ногами. Ривкин схватил косу и пошел по высокой траве. Выкосил тропу, и за ним гуськом потянулись остальные.

Работа на Амуре началась.

Среди первых косарей шел Файвка. Он снял рубашку.

Позади, в самых последних рядах, шел Мейер Рубин и долбил косою землю. Он старался изо всех сил. Лицо у него вспо-

тело, а трава, вместо того чтобы ложиться, только нагибалась, будто уклоняясь от удара, а когда Рубин делал шаг вперед, снова выпрямлялась и оставалась на месте, словно издеваясь...

Он отставал. Впереди, точно исполняя какой-то красивый танец, шел длинный ряд косцов. Рубина захватила величественная картина. Впервые в жизни видел он такой танец: день чудесный, солнце обжигает тела, грациозно движущиеся в такт одно за другим, руки ритмически рассекают воздух, а косы срезают солнечные лучи.

Прекрасный танец!

Рубин начинает точить косу, но получается что-то не то: коса болтается в руках и острее не становится. Но он не теряет, — ведь это еще первый день. О том, чтобы сравняться с Файвкой, конечно, и речи быть не может, и Рубин спокойно, шаг за шагом, идет вверх по прокошенной дороге.

Первый день работали разбросанно, без расчета. Это была проба. К вечеру, когда из Орловки прибыла вторая группа, участки поделили по бригадам и определили нормы.

— По три человека на гектар, больше они не сделают. Разве это косари? Это шляпы! — возражал Ривкину Берка. — Это не то, что наши ребята — коммунары двадцать восьмого года!

— В прошлом году один человек делал

полгектара, — тоже были не такие уж герои! — говорит Файвка.

— Трава была другая, наводнения не было, солнце по-другому светило, а нынче не сделают! — настаивает на своем Берка.

— Вода спадет, так и нынче будут по полгектара давать, — говорит Ривкин и принимается делать отметки на шесте, чтобы измерять глубину воды.

— Амур поднимается! — кричит старик Брейтер. — За сегодняшнюю ночь на три вершка поднялся!

— Здравствуйте! У Брейтера уже поднимается! — расхохотались ребята.

— Лопатин измерял! Не хотите, не верьте!

Он сердито отвернулся.

Дни стояли ясные, солнечные, знойные. Косы с каждым днем звенели все веселее и смелее. Руки у новичков стали двигаться увереннее, боль первых дней понемногу утихла, а косы стали послушнее и как будто даже легче.

Если бы не какой-то мягкий свет в глазах, Груню можно было бы принять за парнишку. Да и одежда ее ничем не отличалась от мужской: брюки, рубашка, косой она тоже орудовала не хуже других, хотя была на сенокосе впервые. Страшно ломило руки. Под мышками уселись два нарыва («две картошки») и всю душу выматывали. Но Груня скрывала боль, так как знала,

что многие ждут от нее стонов, кислых мий, невыходов на работу. Она до крови закусывает губы, но косою размахивает, как косарь с многолетней практикой. Когда у нее спрашивают, «как поживают «картошки» и скоро ли они созреют», она не отвечает и виду не показывает, что ей больно: наоборот, ее невыспавшиеся от боли глаза стреляют веселыми огоньками и подбадривают Рубина: коси, мол, братец, коси, еще день-другой, и будешь не хуже передовых.

Она с ним в одной бригаде. Во главе бригады Берка. Файвка в другой бригаде. Ежедневно он справляется, как обстоят дела у Рубина, и могут ли они уже вступить в соревнование. Файвка слишком верит в свои силы, он прищуривает глаз и смеется: «Руки короткие, благородный юноша!»

Бригада Ривкина соревнуется с бригадой Берки и идет впереди.

— Пускай горячится, — говорит Берка, — мне спешить некуда.

Но Фрид, Груня и Рубин, члены его бригады, не дают ему покоя.

— Либо работать, либо все это к чертям! — говорит Фрид, чувствуя, что коса начинает увереннее двигаться в его руках.

В минуты, когда останавливаются на перекур, они потихоньку говорят о своем бригадире. Ривкин упорно двигается вперед. Вечером, когда собираются у палаток, он говорит, что его бригада скоро врежется в Китай: они уже приближаются к горам.

Погода не меняется, травы стоят высокие, налитые соками и зеленью. Медлить нельзя: если солнце и дальше будет так греть, трава пожелтеет. Вот и приходится спешить. Несколько минут перекура — и работа продолжается. Пот градом льется по искусанным комарами телам, но ребята затягивают песню и торопятся вперед и вперед... Вот уже весь луг устлан скошенной травой, пора собирать копны, пора метать стога, а лошади и машины стоят в Орловке, на другом берегу Амура.

Фрид скрежещет зубами, когда вспоминает заверения Берки в том, что достаточно вызвать из Хабаровска катер, как он придет через три-четыре часа после вызова...

— Нас бить надо, по щекам бить, — говорит он Груне. — Как можно было допустить такое!..

Фрид чувствует, что придется расплачиваться за эту оплошность: давать объяснения, отвечать... А может быть, этим дело еще и не кончится! Фрид — уполномоченный партийной ячейки, он отвечает за всю работу, за качество сена, за выполнение плана. А тут лошади и машины стоят по ту сторону Амура...

Трижды посылали уже людей за катером в Хабаровск, а ответа все еще нет. Катер из коммуны выслали, но он торчит где-то между Тунгуской и Амуром и хрипит испорченным мотором.

Ребята думают, раскидывают умом. Ми-

нуты на Амуре уходят, будто сгорают. Созывается экстренное собрание.

Разжигают костры.

— Так вот, товарищи, для работы необходимы лошади и машины...

Все сидят вокруг костров и слушают речь Ривкина.

— Мы могли бы весь остров побрить и обеспечить себе спокойную зиму. Все были бы довольны — и коровы, и лошади, и люди. Мы решили послать еще одного человека, напишем письмо в исполком, все подпишемся, обрисуем положение: сорок коммунаров торчат на Тарабаровском острове, а лошади и машины — на другом берегу... Нам грозит срыв заготовок сена на зиму... Как вы считаете? Высказывайтесь.

— Чего тут высказываться, надо послать, и все! Больше мы ведь ничего и не можем!

— Надо написать в газету!

— Насчет правления надо написать!

— А при чем тут правление?

— Оно обещало всем обеспечить.

— Оно и обеспечило!

— А катер оно обеспечило?

— Обеспечило! — сердито крикнул Ривкин. — Катер послали, чтобы...

Он замялся и умолк. Берка лежал, тербил губу и посмеивался.

— Погодите! У меня есть предложение.

— Тише, ребята! Слово имеет Файвка.

— Вот что... Надо переправить пару лошадей так, без катера.

— На твоих штанах?
— Балда, чего лезешь?
— Тише! Дайте человеку сказать. Что ты предлагаешь, Файвка?

— Что я предлагаю? В прошлом году косили на Красной речке? Косили. Перевозили. Ну, чего вы на меня глаза таращите, как истуканы? Пока там выспятся и пришлют, можно несколько стогов сметать.

Ребята притихли. Вокруг дымового облака кружили и пели комары. Амур тихо плескался у берегов. Все смотрели на Ривкина и молчали. Ривкин наморщил лоб и сказал как бы про себя:

— Сокол переплыл бы, умный конь.

— Страшно рисковать! — говорит Златкин.

— Иди спать, если боишься. Я берусь переправить двух лошадей, — голову даю на отсечение!

— Ладно, Файвка, давай! Я еду с тобой! — согласился Ривкин. — Значит, так: мы едем и возьмем Сокола, Фрид отправляется в город, а здесь будут ставить копны.

Ребята растащили поленья по палаткам и комарникам, надымили и полезли в мешки спать.

Комарники натянуты на низенькие колышки, вбитые в землю. Кругом они обложены землею. Влезают в комарник через один приподнятый край, затем выкуривают дымящейся головней комаров и лишь тогда засыпают. Ребята спят сладко и хра-

пят во все носовые завертки. После долгого трудового дня хорошо спится на берегу Амура. Но продолжается это блаженство недолго. Проходит час-другой, и в комарниках начинается возня, слышатся проклятья:

— Казалось бы, хорошо закрыли, а все равно поналезли!

— Мы так надымили, задохнуться можно, ни одного комара не осталось.

— Черт его знает! Будто нарочно напустили сюда комарья!

— А может быть... кто-нибудь пошутил...

— Поймать бы... Убью насмерть!

— Наверное, напускают. У меня был приподнят край... Надо следить! — говорит Манн, извиваясь от укусов.

Рядом с ним в комарнике лежит старик Брейтер.

— Вот смотрите, — кричит из комарника Манн, — этот старый кряхтун спит как ни в чем не бывало! Его и не кусают. Лежит спокойно...

— В могиле бы тебе так спокойно лежать, американский жулик! — кричит в ответ Брейтер и начинает стонать.

— Ребята, — говорит Манн, — надо следить! Я берусь следить.

— Болван! Чтоб ты подавился! — отзывается Брейтер.

Поехали за Соколом. Чтобы придать Ривкину бодрости, Файвка рассказывает о своем любимце.

— Помнишь, Ривкин, — начинает он и покатывается от хохота, — помнишь историю с варениками? Нет, ты не помнишь. Послушай. Это было как-то в выходной день. Приготовили вареники. Мы лежим на траве возле столовой, как голодные собаки возле мясной лавки. У ребят слюнки текут, а Зелда, чтоб ее черти взяли, не хочет кормить, пока все не будут готовы. Хоть режь ее, не хочет дать попробовать хотя бы один вареничек! А в миске уже готовых штук сто! Лежат в масле, блестят... Лежим и мы. За каждым вареником, который она кладет в миску, следует проклятье. Но ничего не попишешь, не желает она давать, — приходится ждать. Лежали-лежали ребята и стали понемногу дремать. Я, как тебе известно, спать не люблю, особенно когда готовят вареники. Вот я лежу и вижу: с поля припожаловал наш Сокол. Сделает шаг и озирается, еще шаг сделает и оглядывается. Зелда стоит у огня и потеет. «Ой, думаю, этот молодчик вареники попортит!» Хочу крикнуть, да что-то не решаюсь: уж очень хитро он себя ведет, совсем как заправский воришка. «Ешь, думаю, на здоровье!» А Сокол подошел к миске, понюхал, вильнул хвостом и пожевал губами. Ну, в общем что тебе сказать... Проглотил мерзавец все вареники до единого! Зелда подняла гвалт, схватилась за голову: «Ой, вареники!» А Сокол ушел с вымазанной мордой, хоть подавай

ему салфетку — губы вытереть. Вот ведь до чего умный конь! — закончил Файвка и заработал веслами. Лодка пошла быстрее. Скоро они прибыли в Орловку.

Сокол и в самом деле прекрасный конь — стройный, с большими черными бархатными глазами и трепетными ноздрями.

Вся Орловка пришла смотреть, как упрямится Сокол, не желая входить в воду. Он стоит, смотрит просящими глазами и подрагивает ноздрями. Его вводят в реку, он пьет, а дальше идти не хочет, хоть убей! Кнуты свистят в воздухе, а он вырывает голову из узды и тянется назад.

— Сокол, — умоляет его Файвка, — Сокол... — Он гладит шею коню, целует морду.

Наконец Файвка скинул штаны и рубашку и пустился верхом по берегу. Ездил и кружил до тех пор, пока Сокол не отупел, и лишь тогда пустился с ним вплавь. Когда конь потерял под ногами дно, Файвка спрыгнул и, держа повод в руке, поплыл к лодке, которую Ривкин вел недалеко от берега. Он вошел в лодку, крепко привязал повод к своей руке. Ривкин двинул веслами, и они поплыли по Амуру.

От берега пошли быстро, Ривкин греб торопливо, лихорадочно. Файвка, растянувшись в лодке на животе, крепко держал Сокола за повод. Конь плыл и с мольбой смотрел на хозяина. В его умных, отливающих фиолетовым глазах с минуты на ми-

нуту нарастал страх. Ривкин греб сильно, все его тело было напряжено. Ни на минуту не сводили они глаз с Сокола, который задира л голову высоко над водой.

На берегу их встретили криками «ура». Работа была окончена.

До берега ребята добрались усталые, с трудом переводили дыхание и такими глазами поглядывали на Сокола, точно провинились перед ним. А Сокол часа два простоял возле кучи сена, не притрагиваясь к нему. Файвка не отходил от коня и любовно гладил его шею. Берка подошел и сказал:

— Испортили лучшего коня, провалиться бы вам сквозь землю!

Файвка посмотрел на него таким негодующим взглядом, что Берка тут же убрался.

С Соколом ничего не случилось. Но о доставке таким образом еще одной лошади никто уже не заикался.

Ночью спать невозможно, не помогают ни комарники, ни палатки, в которых от дыма можно задохнуться. Среди ночи ребята просыпаются со вздохами и стонами, с проклятьями, которые они посылают на чьи-то головы, — на чьи — никто не знает. Манн начал следить, не подбрасывает ли кто в палатку комаров, но от усталости заснул. Пробуют перебираться из палаток в комарники, из комарников в палатки, но нигде нет спасения. Кое-кто, завернувшись

в одеяло, ложится в лодку, привязанную к берегу. Другие бродят по берегу и почесываются. Никто не спит. Кругом тишина. Кроме комариного пенья, ничего не слышать. Амур не шелохнется, луна красит его в зеленый цвет. Насупившись стоят пограничные Маньчжурские горы.

В такие бессонные часы, неизменно повторяющиеся из ночи в ночь, ребята выполняют из палаток и комарников, усаживаются вокруг большого костра и рассказывают разные истории.

Много историй выслушивает Амур, историй новых, никогда им не слышанных, да к тому же на совершенно неведомом ему языке. Амур привык слушать рассказы о героических делах красных партизан, истории о том, как были изгнаны белые бандиты, о героической гибели патриотов, истории о борьбе и победах. Сейчас Амур слушает совсем другие рассказы — о людях, покинувших свои старые дома, покинувших городишки и местечки и пришедших к его диким берегам корчевать тайгу, осушать болота, изгонять исконного обитателя этих мест — комара и строить новую жизнь. Но не только развлекательные истории рассказывают в бессонные ночи. Здесь можно услышать и жалобы людей, изливающих друг перед другом свою душу.

Коммунарам, лежавшим у костров, были понятны горькие сетования на судьбу новоприбывших переселенцев. Ясна и понятна была даже не совсем ясная и понят-

ная история старика Брейтера, который что-то говорил о людях, суливших ему золотые горы и заманивших его в треклятую тайгу на погибель и смерть... Ребятам все было ясно. Но трудно им было понять рассказ Манна. Жил он в каком-то неведомом городе, который называется Лос-Анжелос... Судя по его рассказам, это рай земной: апельсины, виноград под окном! Протяни руку и клади в рот. В магазинах полно всякого добра, но... попробуй, возьми что-нибудь...

— Эх, товарищи мои дорогие, — говорит он, — целовать надо здесь каждую пядь земли! Даже вот в этой голой тайге. Конечно, здесь еще ничего нет, все еще сырое... Но ведь сколько всего здесь будет! Там ты в упряжке, в узде, притеснен и придавлен, давишься порою даже белой булкой с маслом, там ты имеешь даже возможность повеситься на шелковом платке... А здесь ты свободен, бери лучший кусок земли, паши, работай, строй, создай, обогащай свою страну, обогащай свою жизнь... Возьми тайгу, строй для евреев новый дом, дом честного труда! Ну, где это еще возможно? — спрашивает Манны, и лицо у него пылает, глаза блестят. — Почему я уехал из Лос-Анжелоса, спросите вы? Это очень просто. Почему я когда-то из царской России удрал в Америку? — спрошу я у вас. Не знаете? И что такое быть в изгнании, вы тоже не знаете?.. Ну вот. А дело это простое, очень простое...

Он умолк, растянулся у костра и лежал, блуждая взором по неоглядным просторам Амура, по темнеющей зелени острова, по тихим пограничным горам. Коммунары молчали, стараясь понять смысл слов Манна. На рассвете ребята уснули возле костра, тлевшего и кутившегося светло-серым дымком.

Когда солнце коснулось лиц, косари вскочили, и снова косы зазвенели у них в руках.

Проплывавшие мимо рыбаки сообщили невеселые новости: собирается дождь, и лить он будет долго. И еще печальнее было то, что, по их словам, после дождя ожидается новое наводнение: река Сунгари вышла из берегов и рвется к Амуру. Метеорологическая станция предвещает наводнение. Новость эта была воспринята на берегу, как сообщение о предстоящей войне с врагом, который усиленно готовится к нападению. А если так, то надо подготовиться не только к защите от нападения, но и к победе над врагом. И на Амуре закипела работа. Косы задвигались быстрее, и старик Брейтер, словно покорившись своей судьбе, тоже косил заодно со всеми, на его рябом лице нет-нет да и мелькнет улыбка, когда его коса вдруг зазвенит в общем хоре.

По всему Тарабаровскому острову двигаются люди с косами, вилами и граблями. Дни бегут быстро. Люди торопятся и подгоняют друг друга. Даже Сокол, этот ум-

ный и славный конь, и тот, кажется, чувствует всю серьезность положения. И он, напрягаясь, тащит копны сена к первому стогу, который начали метать сегодня.

Это неважно, что солнце уже давно зашло, неважно, что комары свирепствуют с еще большей силой, особенно когда наступает вечер. Неважно и то, что подтянутые желудки требуют пищи: стог в полторы тысячи пудов сена во что бы то ни стало нужно сметать сегодня!

С работы возвращаются веселые, хотя и сильно уставшие. Весь остров поет тихо и торжественно. Хмурятся пограничные горы, но люди настроены радостно, они не чувствуют усталости, не чувствуют голода. На берегу стоят два котла. Хлеб уже нарезан. Сейчас ребята усядутся и набросятся на еду, как молодые звери. А пока они идут, распевая, косы поблескивают при свете восходящей луны. Уже вечер, поздний вечер. Но никто не думает о времени, никто не спрашивает, который час. Знают ребята, что стог необходимо было закончить сегодня. Со всех сторон подходят косари, копнильщики, стогометальщики. Приходят Рубин и Файвка, которые сегодня впервые работали, соревнуясь. Приходит Груня — оживленная, загорелая, свежая. В ее зеленых глазах светятся радостные огоньки. Сегодня она всех обогнала, когда копнила сено. Со всех сторон подходят люди и поднятыми косами и вилами приветствуют первый стог, который высится на

пригорке посередине острова. Все веселы, скидывают с себя одежду, прыгают в прохладные воды Амура.

Насторожившись, сидят на берегу, едят хлеб с маслом и прислушиваются, не стучит ли мотор, не идет ли катер. Это самое горячее желание всех — чтобы скорее пришел катер с машинами и лошадьми...

В первые дни всех обманывал шум моторной лодки пограничной охраны. Издалека слышится стук мотора, и вихрем пролетает лодка мимо берега. Она рассекает Амур надвое: обе полосы, собираясь в складки, бегут к берегам. Лодка курсирует до границы и обратно. Но теперь стук ее мотора знают все. На Амуре оживленно: проходят пароходы, большие, ярко освещенные. На палубах поют и танцуют. С берега их приветствуют поднятыми косами, а с парохода отвечают взмахами белых платков.

5

Это было после трудного рабочего дня, когда от страха перед надвигающимся дождем и возможным наводнением нервы напрягались до предела. Ребята сразу же после ужина забрались в комарники и улеглись спать.

После того как Манн взялся дежурить, ребята все-таки спят по ночам. Перед тем как заснуть, они настороженно прислушиваются к Амуру и готовы в любую минуту

раскрыть слипающиеся глаза, чтобы встретить катер. Но на Амуре тихо. Кроме комариного пения, слышится только плеск воды, да порою ветка упадет где-нибудь на острове.

Но Ривкин уснуть не может. С вечера лежит он в комарнике, ворочается и кого-то проклиняет. Груня, которая спит по соседству, окликает его, этого закоренелого биробиджанца, и спрашивает, что с ним такое: комары мешают ему спать или что-нибудь другое? Он отвечает, что, помимо комаров, есть и свои цепные собаки, которые кусают не хуже комаров... Комар, говорит он, хотя бы честно предупреждает своим пением: иду, мол, кусать, остерегись, если можешь! А эти кусают исподтишка. Груня не спрашивала, кто кусает исподтишка, потому что знала, что неподалеку от них лежит Берка, у которого «ушки на макушке».

Он сегодня не поехал к жене на ночлег. В Орловку за хлебом отправились другие. Когда Берка направился к лодке, Ривкин крикнул: «Хватит к жене ездить на полдня!» Берка швырнул весла и лег спать не ужиная.

Уже четвертый день, как Фрид уехал за катером. Знали, что с пустыми руками он не вернется: либо приведет катер коммуны, либо получит в Хабаровске другой. Но почему он задерживается так долго? Ривкин лежит и думает: «А тут еще эти разговоры о дождях, о новом наводнении».

— Эх, вы! — крикнул он, повернулся на живот и обхватил голову руками.

Он пробует представить себе, как коммуна проживет зиму без сена, и видит перед собою коров и лошадей с опавшими боками, разбегающихся людей... А тут прибывают новые переселенцы. Надо их устроить... Что же будет, если положение не изменится?

«Эх!» — вздохнул Ривкин и, отшвырнув ногой комарник, пошел на берег. Был тот тихий час, когда ночь начинает отступать перед наступающим днем.

На берегу он увидел Златкина, также настороженно прислушивавшегося к Амуру. Златкин улыбался:

— Приснился мне катер, вот я стою и слушаю, кажется, и в самом деле что-то стучит.

Ривкин прислушался и сплюнул, словно ему дали попробовать какую-нибудь горечь.

— Медведь тебе на ухо наступил, вот тебе и кажется, будто стучит, — сказал он и пошел берегом.

Златкин остался на месте. Лицо его поминутно то вспыхивало, то снова темнело. Он дрожал от возбуждения: вот стучит, а вот не стучит! Ах, если бы он мог сейчас разбудить всех радостным криком: «Катер идет!» Вот бы зашумели! Но пока он стоит и ищет глазами. На секунду показалось, будто где-то недалеко мелькнул огонек. Хотел было крикнуть... Но огонек погас.

Ривкин вернулся. Он шел медленно, останавливался и прислушивался.

— Ну, стучит или нет? — волнуется Златкин.

— То стучит, то перестает... Черт его знает!

Ривкин направился к лодке, забрав с собой одеяло.

— Пойдем, Златкин, поспим. Уже светать начинается.

Они легли в лодке, привязанной к берегу.

Ривкин и Златкин накрылись с головой, но не спят, прислушиваются: оба были уверены, что где-то, может быть совсем близко, стоит катер, либо неисправный, либо ожидающий рассвета.

— Порядочной машины у нас все еще нет! — произнес Ривкин со вздохом.

— Хороший катер проделывает весь путь за восемь часов. А наш даже когда исправен, и то вдвое медленнее идет.

Оба умолкают, потом Ривкин снова говорит:

— Ох, как бы мы далеко ушли, если бы этот тип не отпустил катер!

— Получит он по башке, Берка.

— Он хочет уйти из коммуны, — говорит Златкин. — Я слышал, как он об этом с женой беседовал. Хочет попросить земли и сколотить новую коммуну — из старых коммунаров, без переселенцев.

— Уйдет он, да только не по своей воле. Выпроводят с музыкой! С треском выши-

бут эту лавочную душу. Без переселенцев ему, видите ли, хочется, а сам он переселенцем не был? Наверное, лавочку хочет с кем-нибудь на пару завести, вот что.

Они снова умолкают. У Златкина начинают слипаться глаза, но Ривкин не спит.

— Ты смотри, — говорит он, — когда придут машины, научись ухаживать за ними, тогда сделаем тебя бригадиром, а его — ко всем чертям.

Но у Златкина глаза закрываются, рот расплывается в улыбке, и он засыпает.

Когда солнце начало пригревать, Златкин проснулся с веселым криком:

— Катер! Ребята, катер идет!

С Амура доносился стук мотора. Возбужденные коммунары бежали к берегу и кричали наперебой:

— Где идет? Ничего не идет!

— Смеешься, Златкин? Обманываешь?

— Самому не спится, и другим не дает!

— Эх, ты!

— Тише! Идет...

— Ползет!

— Едет!

— Тише! Кричат...

— Кто кричит?

— Фрид!

— Да, да! Вон ползет. Желтый... Вон у берега, около кустов.

— Да! Да! Ура! Ур-ра! Ур-ра!

Солнце, вылезшее из-за гор, залило светом Амур и его берега. С противоположной стороны реки, пытаясь, шел желтый катер.

Оттуда доносился голос. Можно было уже различить, что это голос Фрида. За катером тащился баркас с машинами.

Невыспавшееся лицо Ривкина стало серьезным и деловитым. Он уже собирал самых сильных ребят, строил их. Крепкие руки были готовы таскать машины с баркаса.

Катер уже пересекал Амур и приближался к палаткам. Солнце светило все ярче. Зелда раскладывала огонь и набирала в котлы воду.

Груня подпрыгивала от радости, она обнимала Рубина и смеялась.

— Любишь меня крепко, Груня? — вдруг ни с того ни с сего спросил он и тоже засмеялся.

Она отвернулась и побежала.

На берегу царит веселое оживление. Катер привез машины, лошадей и партию новых переселенцев.

— Вот тебе новая радость! — проворчал Брейтер. — Опять переселенцы! Берка! — крикнул он в сторону палаток. — Прибыли новые переселенцы! Не хватало для ассортимента.

— Свежие, с иголки?

— Совсем новенькие! — подхватывает какой-то русоволосый паренек, приплясывая босыми ногами по скошенной траве.

— Откуда гости? — спрашивает Файвка.

— Из Бердичева.

— Из Бердичева? Стало быть, настоящие! Строить Биробиджан приехали?

— А что ж, строить! Не в гости...

— Ну что ж, ну что ж! Складывайте вещи, идите умойтесь, — смеется Файвка и направляется к катеру.

Из палатки вылез Берка и пошел по берегу.

— Вот новые переселенцы! — показал Брейтер.

— И много вас приехало? — спросил Берка, глядя на переселенцев злобно прищуренными глазками.

— Тридцать две семьи, — ответил кто-то.

— Тридцать две? — удивился Берка. — С детьми и стариками?

— Да, старики, бабушки, множество внуков.

— Зачем же вы приехали к нам?

— Слыхали, что у вас тут очень хорошо.

— Еще в Бердичеве об этом слыхали?

— В Бердичеве. Да и везде про вас говорят и даже в газетах пишут.

— Вот оно что! Нашумели, натрещали... Вот и бегут сюда со всего света...

— Еще одна группа едет. Она уже в пути! — обрадовали Берку переселенцы.

Берка засунул руки в карманы, втянул голову в плечи и, чуть сгорбившись, отошел от переселенцев.

— Всякая рухлядь к нам лезет! — проворчал Брейтер, следуя за Беркой.

Однако никто ему не ответил. Единственный человек, который не смолчал бы, — Файвка — занят сейчас разгрузкой машин с баркаса. Его мощные плечи чуть не тре-

щат от тяжестей, которые на них взваливают.

Новоприбывшие поставили палатку и вышли посмотреть на новое место. Ходили по берегу и приговаривали:

— Хорошо! Прекрасно! Замечательно!

Им все нравилось — горы, Амур, травы выше человеческого роста, изумительно ясные, глубокие дали.

— Очень хорошо! Великолепно!

День был погожий, настроение у всех приподнятое. Работалось весело и споро.

Вечером на берегу было оживленно. Уютно стало от того, что пятнадцать лошадей переступали копытами и сочно хрустели свежескошенной травой.

Берег ожил. Машины и лошади были готовы к выезду. Новые переселенцы учились держать косу. Фрид рассказывал историю с катером, который по дороге «простудился» так, что пришлось вызывать из Хабаровска другой катер, чтобы взять первый на буксир.

На берегу еще светло. Весело потрескивали костры, дым окушивал людей и лошадей. Все были очень довольны. Гудели машины. Отдохнувшие лошади быстро доставляли копны к стогам, разраставшимся вширь и ввысь. Косилками командовал Берка. Он и в коммуне всегда лънул к машинам.

— Машина — славная вещь! — говорил он. — Главное, что много рук не требует и дает продукцию...

Сегодня он подошел к машинам лениво и

без особого интереса. Когда Ривкин указал ему на Златкина и сказал: «Возьми его в работу, но так, чтобы он основательно научился», — Берка скорчил гримасу и проворчал:

— Наследника подготовить, чтоб он меня сменил?..

Ривкин не ответил, он был доволен, что Берка чувствует свою вину.

Берка не очень старался помогать Златкину. Он велел ему только смотреть. Механизм косилки несложен, особых способностей для того, чтобы его изучить, не требуется. Златкин в первый же день присмотрелся, а назавтра уже сидел на косилке и весело щелкал кнутом.

Дни проходили напряженные, ни минуты не пропадало зря.

Одна небольшая бригада из лучших косцов осталась косить вручную на местах, недоступных для машин. Среди этих косцов был и Мейер Рубин.

— Вот видишь, — говорит Файвка, — и ты научился косить.

— Скоро догоню, Файвка!

— Ты молодец! Догнать догонишь, но обгонять — не смей, брат! Можешь быть высококвалифицированным и ученым. Тебе надо было приехать в Биробиджан на несколько лет раньше.

И, пройдя с косой вперед (Файвка всегда идет первым), он так увлекся, что сделал три круга без остановки на перекур. Когда

участок был закончен, Файвка обратился к бригаде:

— Ну, ребята, как дела? Замучились? Кто еще на три круга без остановки идет?

Сам он готов был двинуться вперед, но никто не откликнулся. Ребята свертывали папироски и переводили дыхание.

Мейер Рубин платком вытирал с лица пот.

— А как насчет того, чтоб перегнать? — спросил Файвка, дымя папироской.

— Но косить я уже умею.

— Умеешь. Молодец!

— погоди, я еще обгоню тебя...

— Забудь, братец, выбей из головы. Можешь уже сказать, что проиграл.

— Не торопись. Мы еще на машинах потягаемся.

— На машинах? — удивленно переспрашивает Файвка.

Рубин проговорился: решение о новом составе работающих на машинах еще не было оглашено... И он ничего не ответил на вопрос Файвки.

Ночью, лежа в комарниках, ребята подслушали разговор Рубина и Фрида относительно соревнования. Рубин сказал, что технически он сравнялся с Файвкой, но что обогнать его невозможно. Тот вообще не устает, он может начать не евши и ходить до ночи с косой без остановки.

— Я так не смогу, — заявил он.

— Но сдаваться ты не должен.

— Понятно. Он уже сегодня хотел кон-

чать, но мы еще на машинах попробуем. Я не сдамся!

— И правильно делаешь, — сказал Фрид, — ваше соревнование много дало. Теперь уже все соревнуются, даже старик Брейтер.

— С кем?

— С русоволосым пареньком из новых.

Многие замечали странное поведение Берки и его безразличное отношение к работе. Из всех шести косилок, которые были в работе, одна лишь косилка Златкина выполняла норму. Остальные отставали. Машина Берки с утра стояла на месте, лошади жевали траву и волочили вожжи, путавшиеся в колесах. А бригадир среди белого дня натачивал ножи то одной, то другой машины, давал советы, а то и вовсе забирался под дерево, разжигал костер и усаживался курить. Берка всячески старался доказать, что коммуна обязательно распадется.

— Коммуна, — толковал он, — может существовать только тогда, когда она маленькая, а тут набежало со всего света всякой твари по паре, один другого знать не знает, и ни у кого ничего нет. Такая коммуна должна погибнуть.

— А как же ты себе представляешь настоящую коммуну? — спросил один из коммунаров, который серьезно задумался, услышав эти рассуждения.

— Мой совет прост: все старые коммунары, лучшие, должны уйти и создать особую коммуну, маленькую, и никого из новых в нее не принимать.

Он вызывающе посмотрел в задумчивые глаза коммунара: понятно, мол? — и добавил:

— Земли здесь хватает, бери.

— В районе такого дела не допустят! — сказал один.

— Как это не допустят? — возразил Берка. — Новое хозяйство не дадут организовать?

— Нет, не позволят. Теперь речь идет об укреплении старых коммун. Читал постановление?

Берка постановления не читал, но настаивает на своем. Он даже нашел выход, если такое постановление и в самом деле существует:

— Надо уходить. Надо поставить район перед выбором: даете землю, — ладно, нет, — мы уезжаем. А старым биробиджанцам они уехать не дадут! Вот что нужно!

Он смотрит на своих собеседников с улыбкой, точно хочет сказать: «Стоит минуточку подумать — выход найдется».

Златкин, который никогда в таких беседах не участвовал, тем не менее всегда доискивался до их смысла.

После знойного и утомительного дня наступил вечер. Ребята пришли усталые, молчаливые и на берегу застали косарей, уже искупавшихся и нетерпеливо поглядываю-

щих на кухню. Первой не выдержала Груня. Она возбужденно крикнула:

— Вот полюбуйтесь на них! Уже пошабашили!

На берегу стало шумно. Коммунары, которые все время надеялись на машины, пылали от гнева:

— Как это по полдня работать?

— Почему никто не знает, сколько они успевают за день?

— Учета работы нет!

— Тише, ребята! — вмешался Ривкин, когда публика основательно разгорячилась. — Не кричите. Учет есть. Знаем, сколько кто успевает. Один Златкин выполняет норму, больше никто. Машина Берки вообще не работает.

— Будь сам бригадиром! — крикнул Берка.

— Нет, не я, — ответил Ривкин. — Бригадиром назначат другого.

— Почему одного бригадира? Вся бригада никуда не годится, если они норм не выполняют! — заметил один из ребят.

В эту минуту подъехал Златкин. Берка раскричался, что кто-то портит машины, а ему приходится их чинить, что нужно точить ножи. Увидав Златкина, несколько человек заговорили сразу.

— А почему Златкин может? Почему у него ничего не ломается? А ему кто ножи натачивает? Ведь он всего третий день как работает!

— Что тут удивительного, — сказал Злат-

кин, — если люди ни черта не делают? Сидят часами в дыму и агитируют за то, чтобы удирать из коммуны. Никто не работает. Вся бригада никуда не годится.

— Вот мерзавцы!

— Саботажники!

— Гнать из коммуны!

— Под суд их!

На берегу все ходило ходуном. Над головами ползли темные тучи и еще больше раздражали коммунаров.

Собрание возникло стихийно. Называли имена новых членов бригады:

— Бригадиром назначается Златкин!

— Правильно! — крикнули ребята.

— Он настоящий парень!

— Коммунар! Биробиджанец!

В бригаду вошли также Файвка и Мейер Рубин. Они пожимали друг другу руки:

— Теперь начинается новое соревнование! Не правда ли, Файвка?

Файвка не возражает: он всегда готов с кем-нибудь соревноваться.

На берегу все еще шумно. Фриду трудно утихомирить разгоряченных ребят.

Берка сидел в стороне и поплеывал на воду.

Надвигалась ночь, темная, тяжелая.

6

Машины заговорили веселее. Обновленная бригада стала крепкой. После двух-трех дней работы большие участки острова ока-

зались оголенными, а на площади многих гектаров лежали груды сена. Росли и стога. Ребята нажимали изо всех сил.

— Скошенное сено не оставлять! Если ударит дождь, оно пропадет! — говорит Ривкин. — Придется на день-два остановить машины и бросить все силы на уборку.

Но пока машины работают вовсю. Ривкин сияет. Машина идет хорошо.

— Совсем другое дело! — говорит он Файвке. Тот никак не может установить ножи так, чтобы трава срезалась под корень.

Файвка злится, гонит лошадей за Рубиным, который успел уйти далеко к горам.

— Эй! — кричит Файвка. — К горам не лезь! Там охрана...

Ему не угнаться за Рубиным.

— Ты уже когда-нибудь работал на машинах? — спрашивает Файвка.

— Работал, да не на таких. А когда знаешь одну, легче и к другой приспособиться. — Рубин смотрит Файвке прямо в глаза и улыбается, как победитель. — Тоже мне машина! Ты дай мне машину с моторчиком, с шестеренками, с шурупчиками... Машину с механизмом! Вот тогда посмотришь!

Рубин очень доволен, ему доставляет удовольствие сидеть на косилке и откладывать в стороны скошенную траву.

— Вот мастера, — говорит Файвка, который едет сзади, — на машинах они воц как

щелкают! Эй! — кричит он Рубину. — Думаешь, наши ребята на машинах не умеют?

— Знаю, что умеют, а вот ты еще не умеешь, тебе учиться надо на машинах работать.

— Я не умею? Мастер задрипанный! — кричит Файвка, окончательно выведенный из себя. Он щелкает кнутом, гонится за Рубиным.

— Эй, Файвка! — кричит бригадир Златкин. — Отпусти ножи, не оставляй наполовину срезанную траву!

Файвка останавливает машину, слезает с сиденья и, нажимая на шатун, говорит, ни к кому не обращаясь:

— И на машинах научимся, ничего! И с моторчиком, и с шестеренками, и с механизмом, — повторяет он слова Рубина и щелкает бичом. — Вью, лошадки, вью!..

Вот уже несколько дней, как горы окутаны серым туманом, предвещающим дожди. Душно. Травы томятся, никнут к земле. Стогометальщики истекают потом. Предвещает дождь и то, что комары неистовствуют, а также нашествие мокриц — крошечных, едва заметных мушек, которые забираются под платье и обжигают укусами так, что за сердце хватает.

Новички, приехавшие помогать, нет-нет да и пожалуются:

— Кусают!

Они работают с искусанными лицами, с красными, заплывшими глазами.

Иные говорят:

— Значит, это правда, что говорили о комарах...

Ривкин утешает их:

— Это только на первых порах трудно... Привыкнете, кожа загрубеет, и вам будет наплевать...

Такие разговоры ведутся в минуты перекура. Теперь копны ставят все, кроме стогометальщиков. Косилки покрыли весь остров грудами сена. Сейчас это сено сгребают. Файвка ставит стога, а Рубин и Груня вяжут копны. Они работают на пару и улыбаются друг другу.

— С тобой хорошо работать, — говорит Груня.

— Ладно. Можем заключить договор.

— И у меня хочешь выиграть? — спрашивает она и улыбается.

Молчат. Работают еще быстрее, и оба довольны.

Сегодня шли с работы без песен. Настроение портили облака. Ведь еще сотни копен и десятки гектаров скошенного сена ждут уборки, а горы стоят насупившись, небо обложено тяжелыми тучами, темнеющими с каждым часом. На берегу сегодня скучно. Ужинают молча. Ривкин ходит возле лошадей, которые настороженно смотрят в сторону гор. Оттуда доносится грохот, будто тяжелые камни катятся по скалам.

— Ночью будет дождь, — печально за-

являет Ривкин, и от его слов как будто еще темнее становится на берегу.

Ребята идут спать молча, в грустном настроении, словно ожидая чего-то недоброго.

Ночью начался проливной дождь. Ребята толкались у входа в палатки, потом ложились, накрывались с головой и тут же засыпали.

Утром на работу вставать не пришлось. Никого не будили. Не спали только бригады. Они ходили по берегу под дождем. Горы будто занесло куда-то далеко к горизонту. Небо над Амуром расстилалось набухшее и печальное. Река бурлила и пузырилась, вскипая пеной под ливнем.

Дождь лил с неистовой силой. Остров заливало водой. Бригады ходили молча, приглядываясь к погоде. Лошади безропотно мокли и смотрели вокруг грустными глазами.

— Мокнут лошади, — сказал Ривкин, — а говорили ведь о шалаше. Себя обеспечили, а о лошадях забыли!

Он посмотрел на Берку. Тот выпался, поднялся и начал вычерпывать воду из лодки. Он собирался поехать к жене в Орловку на время дождей.

Ривкин переговорил с Фридом, и вскоре послышался звон стали, прозвучавший особенно странно сейчас, во время проливного дождя.

Коммунары поднимали головы и, прищурив глаза, прислушивались, не кончился

ли дождь. Но нет, льет. По какому же случаю звонят?

— Кто там стучит?

— Что за стук?

— Не мешайте спать!

— Кто это там шуточки шутит?

— Ведь дождь идет!

Но в ответ на вопросы и выкрики звон усилился, и, перекрывая его, раздался голос Ривкина:

— Вставать! Для себя палатки поставили, а о навесе для лошадей забыли... Лошади мокнут под дождем, машины ржавеют. Вставать! Немедленно поставить навес!

В палатках на минуту притихло. Ребята вспомнили, что и в самом деле был разговор о лошадях, о навесе... Но сейчас? В такой ливень! И вдобавок так хочется спать...

— Да ведь дождь идет! — кричит кто-то из палатки.

— Вот именно потому, что дождь! — отвечает другой.

— Но что же можно делать в дождь?

— Авось не растаешь!

— А лошади растают?

— Я в дождь не работаю! — кричит старик Брейтер. — Слыханное ли дело! Работать в дождь... Разве на постройке работают в дождь? Я не пойду! — Он накрылся с головой и повернулся на другой бок.

В палатках зашумели:

— Если пойти, так всем пойти!

— Что значит — он не пойдет?

— Не коммунар он, что ли? Не его это лошади?

Манн был вне себя. Он стоял с помочами на плечах.

— Как это ты не пойдешь? Ведь это же твое хозяйство, твое достояние!

Он сорвал с Брейтера одеяло и раскричался так, что начали сбегаться со всех палаток. Манн, словно используя случай, чтобы выместить накопившуюся злобу, ударил старика в зубы.

В палатке поднялся крик. Брейтер с диким мычанием бросился на Манна, и оба повалились на мокрое сено.

— Что за драка?

— Дай ему, старому!

— Вот так! Лупи его, американца!

С трудом разняли дерущихся. Теперь они стояли, как два нахохлившихся петуха:

— Ты, мерзавец, драться будешь?

— А ты пойдешь работать, спекулянт?

— Ты будешь бить советского гражданина? Ты кто такой? На готовенькое приехал!

— Ты, что ли, приготовил, старый черт, ты, что ли, работал?

— А много ли ты страдал, американец? За лошадей заступаешься, ты за людей заступайся! Свинья этакая!

Дождь колотил по палатке, будто камнями ее забрасывал. Коммунары надели плащи, а те, у кого их не было, вышли в одних трусах.

В палатке остался один Брейтер, не перестававший извергать проклятья. Фрид предупредил Манна, что за драку, которую он затеял, его будет судить товарищеский суд, а также и Брейтера за его отказ выйти на работу.

Дождь не переставал. Горы заволокло тучами. Амур бушевал, вскидывая на поверхность белоголовые водяные холмы. Рыбачьих лодок не видно. Берка оттолкнулся веслами от берега, поплыл по Амуру, но, почувствовав дрожь, повернул обратно, привязал лодку и пошел помогать строящим навес.

Ребята, шагая босиком, тащили ветви и целые деревья, рыли ямы, которые тут же наполнялись водой. Работа продвигалась плохо. Топоры выскользали из рук. Дождь хлестал по телам, от которых шел пар. Торопились, гнали: лошади стояли с печальными глазами, с них потоками текла вода.

Дождевые плащи у многих уже промокли насквозь — волочатся и прилипают к телу, мешая работать. Ребята сбрасывают их вместе с одеждой. Так легче, руки двигаются свободнее, удобнее лазить по врытым в землю шестам и сколачивать навес.

Навес растет, люди работают молча, напряженно. Груня тащит две жерди, держа их под мышками, и шагает вся мокрая, в штанах, облепивших ее ноги, и коф-

точке, облегающей ее тугую грудь и прямую, крепкую спину.

Верхом на жерди, держа гвозди во рту, сидит Мейер Рубин.

— Подавай! — весело кричит он Груне, и их влажные глаза улыбаются, встретившись.

Мейер ловит себя на том, что при виде Груни у него руки двигаются быстрее, а гвозди легче и веселее вколачиваются в жерди. От этого становится хорошо на душе, и он напевает бодрую песенку.

Ривкин и Файвка переглядываются и кивают на Рубина.

— Становится свойским парнем! — говорит Файвка.

Ривкин не отвечает. Он о чем-то задумывается, глядя на Груню, легко таскающую ветви к шалашу, и на Рубина, весело вколачивающего гвозди в стропила навеса.

Раздаются последние удары топоров.

— Сейчас, сейчас! — кричит Файвка, хлопывая Сокола по шее. — Сейчас будет у вас квартира, лошадки! — Он заглядывает Соколу в глаза. — А лошади — не люди, что ли?

Лошади задирают головы, смотрят, как мокрые, обнаженные тела возятся под проливным дождем на берегу Амура, и кажется, будто они благодарны людям за шалаш, в котором скоро смогут немного обсохнуть.

Уже второй день льет дождь. По острову бегут ручьи, и скошенное сено мокнет в воде. Златкин ходит сам не свой:

— Сколько сена погибает, сколько труда!

Многие коммунары завернулись в одеяла, надели ватники и отсыпаются за все бессонные ночи. Груня и Рубин устроили себе общее ложе, лежат в уголке и шепчутся.

— И как им не надоест, — ворчит старый Брейтер, который никак не может уснуть, — только и делают, что секретничают.

В ответ оба тихонько посмеиваются.

Моторная лодка пограничников, как всегда, дважды в день пересекает Амур, и в палатках прислушиваются к стуку мотора. Утром лодка идет вниз по реке, вечером она несется обратно к границе. В палатках проснулись. Весь день проспали. Сейчас лежат и слушают. Стук мотора нарастает, усиливается, потом становится тише и тише.

К вечеру второго дня послышался стук мотора. Ребята в палатках подняли головы. Сегодня мотор стучал как-то странно: удары не затихали, они росли и приближались. Лошади заржали.

— К берегу идут! — крикнул кто-то.

— Выгляните!

— Погодите!

— Да, к берегу.

— К лошадям! — крикнул Ривкин.

Лошади рвались с привязей и готовы были разнести шалаш.

Лодка пристала к берегу.

— Здорово, ребята!

— Здорово!

Три человека в зеленых фуражках с красными звездами вышли на берег. Все выбежали из палаток. Дождь не прекращался. Прибывших окружили, на лицах у всех застыл один вопрос: «Что привело их сюда в такую погоду?»

А те спрашивают: как выполняется план, все ли охвачены соцсоревнованием, сколько насчитывается ударников и какую культработу ведут они на Амуре?

— Культработу? В таких условиях?

Да, спрашивают еще о стенгазете, хотят ее посмотреть. Сейчас эти трое ходят по палаткам.

— Почему лежаки так низко от земли?

Они осматривают лошадей, машины. Спрашивают, почему машины не прикрыты брезентом. Останавливаются возле ящика с гвоздями. Ривкину, который представился бригадиром, они очень деликатно замечают, что гвозди имеют обыкновение ржаветь под дождем. Ривкин тут же хватает ящик и уносит к себе в палатку.

Все очень взволнованы визитом гостей. Долго тянутся разговоры. Всех очень удивляет, что люди, стерегущие границу, уделяют внимание каким-то гвоздям... соревнованию... культработе...

— Какой был бы позор, если бы они за-

стали лошадей и машины под открытым небом! — говорит Ривкин, перетирая тряпкой мокрые гвозди. — Вот у кого учиться надо!..

Гости произвели большое впечатление. Всем хотелось высказать о них свое мнение. Ривкин, например, долго возился со своими гвоздями, потом почесал голову и проговорил мечтательно:

— Прислали бы нам малую толику таких переселенцев, вот тогда бы мы кое-что сделали... .

— С такими можно коммуну строить! — говорит Златкин.

— Коммуну! С ними целый город построить можно!

— Целый мир, братец, новый мир, а не только город! — добавляет Манн.

— Вот это ребята!

И начались рассказы о героях-чекистах, об их делах, об их необыкновенной бдительности. Беседа затягивается до глубокой ночи. Слушают, а уже слипаются глаза. Нити рассказа рвутся, их кое-как связывают, но в конце концов все засыпают под шум дождя.

Дождь действует угнетающе. В голову, как мокрые черви, лезут всякие мысли. Из-под одеял слышится ворчание:

— Чего будем лежать и гнить?

— Кости ноют от сырости.

— У меня уже ногу скрутило!

— Спину ломит.

— В коммуне можно было бы работать.

Там работы хватает, а тут лежишь в мокрети и гниешь.

— Домой надо ехать! — кричит Брейтер.

— Эй вы, переселенцы! — слышится приглушенный голос Файвки. — Легко, думали, будет? Нелегкое дело строить Биробиджан. Уже четыре года, как мы здесь работаем. Теперь что! Вы бы в двадцать восьмом году здесь были... Потруднее приходилось, а не стонали.

— Другие люди были, — говорит Берка. — С этими разве что-нибудь сделаешь?

— С какими с «этими»? — спрашивает Фрид.

— Да вот с такими... — Берка делает широкий жест, обводя рукой все палатки на берегу.

— А все-таки и эти кое-что сделали, — спокойно замечает Фрид. — Когда коммуна состояла из пятнадцати человек, у вас было три коровы да две лошади, свиней не было, тракторов вы не имели... А сейчас вот эти самые люди создали большое хозяйство, которое будет расти!

— Ах-ах, большое хозяйство! А что от этого имеет коммунар? Чем крупнее хозяйство, тем меньше он получает.

— Правда.

— В самом деле, почему?

— Коммунар нынче имеет хворобу, — поддержал еще кто-то.

У Берки глаза заблестели.

— Раньше хорошо ели и в кармане было немного денег. А сейчас машины грызи!

Из-под одеяла высунулся Ривкин. Вид у него был такой, будто он сердится, что ему спать не дают.

— Что это там проповедует реб Берка? — спросил он, стирая сон с лица. — Скверно сейчас живется коммунарам? Раньше было лучше? Да. Кое-кому раньше было хорошо, а кое-кому и сейчас неплохо, — сказал он, глядя Берке прямо в глаза. — Да, такому человечку, как ты, раньше было лучше... Было небольшое дело с пятнадцатью компаньонами... Тебе понадобилась сотня, ты брал и никто не спрашивал, заработал ты эту сотню или нет, причитаются тебе такие деньги или нет. Расходы даже в книгу не записывали. Берите, мол, деточки, сколько хотите, и стройте для евреев Биробиджан... Теперь не то. Раньше, бывало, выдают корову и тут же пьют молоко. А теперь приходится мозги сушить и думать, что лучше сделать: сыр или масло? Сейчас ты вроде хозяина, который строит дом и должен деньгами, вырученными за молоко от коровы, платить рабочим, должен покупать на эти деньги гвозди и стекло, должен закончить постройку дома. Ну вот, придет ли хозяину в голову выпить это молоко или же на вырученные за него деньги купить пару сапожек со скрипом, а не материал на крышу?.. Вот такими хозяевами были вы раньше. Видал? — спросил он, указав на ящик с гвоздями. — Когда построишься, крышу покроешь, стекла замажешь, тогда только

высчитаешь, сколько надо отвезти в город, сколько молока ты можешь выпить и сколько тебе требуется для хозяйства. А позднее, если будешь хорошо работать, заработаешь и пару сапожек со скрипом... А сейчас нет времени, сейчас канун праздника, к празднику надо дом кончать.

Он как бы обращался ко всем: «Ну, что скажешь? А ты как полагаешь? А ты? У тебя есть вопрос?»

Но никто ничего не спросил, ничего не сказал. Было тихо. Все лежали на своих местах и прислушивались к тому, как по палатке барабанит дождь. Тишину нарушил Берка:

— Может быть, и хорошо, быть может, и лучше стало, но для меня здесь больше не место. Вернусь с сенокоса и уеду в город. Хватит с меня коммуны.

— Для тебя здесь, пожалуй, давно уже не место! — отрезал Ривкин.

— Работать для других я не хочу. Уж если работать, так для себя.

— Открой лавочку на Амуре, — рассмеялся Файвка, — как твой папаша когда-то.

Коммунары посмеивались.

Дождь лил три дня. К вечеру третьего дня горы подняли головы, серые полотнища посветлели, распоролось и понемногу стали скользить вниз, к горизонту. Дождь сеялся мелкими каплями, небо начало освобождаться от туч. Амур тоже успокаивался. Пенистые гребешки на воде сделались меньше и постепенно исчезали. По реке

словно расстилалось зыбкое, отливающее всеми цветами волнистое покрывало.

— Эй! — кричала Груня. — Небо расчистилось! Ребята, берите вилы, натачивайте косы, запрягайте лошадей!

Отдохнувшие, набравшиеся новых сил коммунары стоят на берегу. Смотрят, как белые облачка плывут вокруг гор, расползаются и открывают зеленые, словно вымытые склоны. То, что горы очистились, — хорошая примета: теперь дождь будет не скоро. Но Амур стал шире, он напился сверх всякой меры и вздулся, как опухоль. Старые коммунары, не раз бывавшие в этих местах, смотрят на него с опасением. Вспоминается предсказание рыбака о том, что Амур разольется после дождя...

— Кто знает, сколько еще можно будет здесь работать, — с грустью сказал Ривкин, обращаясь к Фриду и глядя на широко раздавшийся Амур и на множество ручейков, разлившихся по острову. — Ребята уже панику устраивают. Не мешало бы созвать собрание и поговорить. Необходимо спасти как можно больше сена, если Амур разольется.

— Да, — соглашается Фрид, — надо созвать собрание. Надо обсудить дело Манна и Брейтера, чтобы таких историй больше не повторялось.

— Материал готов?

— Все готово!

— Тогда созывай, — сказал Ривкин и на-

правился к копнам: посмотреть, насколько они промокли.

Фрид начал готовить материалы к обсуждению.

Груня колотила куском железа по рельсу, висящему на проволоке, созывая людей на собрание.

Все уселись. Товарищеский суд занял почетное место. На ящике, накрытом красным головным платком, разложили материалы расследования и обвинительный акт.

На берегу вспыхнули факелы, придавшие всей обстановке особую торжественность.

Председатель суда прочел обвинение, предъявленное коммунарам Манну и Брейтеру. Манн обвинялся в избиении Брейтера, а Брейтер в отказе выйти на работу, когда надо было уберечь от дождя лошадей и машины. Одного за другим вызывали свидетелей, которые клялись в том, что будут говорить только правду. Обвиняемые обязались беспрекословно подчиниться решению товарищеского суда.

Среди свидетелей был и младший Брейтер. Он вышел вперед и стал возле председателя. Коммунары подымали головы и пожимали плечами: «Что это за свидетель, что может рассказать этот малыш?»

А младший Брейтер, держа руки в карманах коротеньких брюк, гордо поднял голову и, не дожидаясь вопроса, выпалил:

— Мой отец скучает по старым временам! Он для коммуны — негодный эле-

мент! — парнишка замялся. Он чувствовал, что все коммунары смотрят на него с удивлением, и это мешало ему говорить. Однако он набрался духу и снова выпалил: — И комаров в комарники он напускал! Я сам видел... Я следил...

И мальчик замолчал, ошеломленный собственными словами.

Коммунары терли глаза, пожимали плечами. Факелы отбрасывали желтые отсветы на лица людей. Парнишка смущенно молчал, и только Амур, казалось, повторял его слова.

Старик Брейтер поднялся с места. Хриплые звуки вырвались у него из горла:

— Ах, байструк! Я ж тебя!

Он скрежетал зубами, лицо его пылало от стыда. Он ждал чего угодно, только не этого. Брейтер бросился вперед с поднятым кулаком и готов был обрушиться на парнишку.

— Кости переломаю! Убью, как собаку! — цедил он сквозь зубы.

Но тут он увидел поднятые головы коммунаров, и кулак сам собою разжался. Он смог лишь пробормотать:

— Врага на свою голову выкормил! Набрался у них богомерзкой премудрости!

Коммунары только теперь уяснили себе смысл слов паренька. Поднялся шум. Председатель колотил в рельс. Звон постепенно утихомирив собравшихся.

На Амуре показался ярко освещенный пароход. Он подошел к пристани, и на

берегу стало светло и весело от пения пассажиров. Это было как раз в ту минуту, когда «прокурор» произносил свою торжественную обвинительную речь против Манна, который такими некультурными средствами, как нанесение побоев, пытался перевоспитать старого, отсталого и некультурного человека, и против Брейтера, который вредительски и преступно относится к коммуне.

Пассажиры вытягивали головы, стараясь понять, что происходит на берегу.

7

Семьдесят тысяч пудов — таков план. Теперь все было сосредоточено вокруг этой цифры. План должен быть выполнен во что бы то ни стало. И люди шли в воду, вытаскивали оттуда сено и сушили его. Надо было торопиться, особенно сейчас, когда разговоры о надвигающемся наводнении были уже не просто слухами: в соседних корейских селениях многие переносили свои койки из комнат на чердаки.

— В любую минуту может так хлынуть, что штанов схватить не успеешь! Шутки шутите с Амуром? Ох, и река, всем рекам река! — предупреждал старый рыбак. — Я здесь, на Амуре, родился, здесь, видать, и помру. Мне эта водичка хорошо знакома... Уж я по волнам вижу, что он скоро играть начнет. В морщинах злобу свою прячет... Давайте, ребятки, вовремя узлы

свои складывают и отсылают домой, а то водичка скоро начнет играть!.. Ох, и водичка!

На берегу становится скучно. Тихий корейский напев нагоняет страх. Но страху противостоит цифра плана, и кажется, что цифра вступает в борьбу со страхом...

— Еще бы восемь солнечных, погожих дней, и мы спасены! — говорит Ривкин, окидывая взором стога, которые вырастают с изумительной быстротой, и в то же время со страхом поглядывает на Амур.

Берка, который тоже стоит на вершине стога и работает под руководством Ривкина, часто смотрит на Амур, но ничего не видит. Он чувствует только страх, который растет у него в душе по мере того, как прибывает вода в реке. Выслушав сухой расчет Ривкина относительно необходимых для уборки дней, он вскипает злобой так, что скулы у него дергаются:

— Ты отвечать будешь!

— Конечно, я, не ты же!

— За людей, за жертвы отвечать будешь!

— За какие такие жертвы? — злится в свою очередь Ривкин. Однако он тут же овладевает собой.

Снизу подают на вилах сено, чтобы закончить стог. Кроме них двоих, на стогу никого нет. Внизу не слышно их разговора, Ривкин поминутно протягивает свои длинные руки, снимает с вил сено и продолжает злиться:

— Жертвы какие-то выдумал! Испугался, хозяйчик... Эй, ты! — кричит он тому, кто стоит внизу. — Не подавай мокрого сена! Сейчас как на войне. Еще и не выстрелило ни разу, а уж он в кусты...

— Ты, брат, ловкий! На готовенькое приехал.

— Тебя сменить, — отвечает Ривкин коротко.

Берка закусывает губу и вспыхивает от злобы. По ночам он спать не может. Сидит на берегу и смотрит на Амур, который течет быстрее обычного. Он ждет волны, которую река швырнет на берег, — тогда Берка сможет взять лодку и удрать. Он давно убежал бы, не стал бы дожидаться волны, но ему хочется потащить за собой группу старых коммунаров. Пусть эти знают... Пусть потом пошумят... Пусть попробуют обойтись без таких людей! А наводнение — самый подходящий момент для этого. Пусть только Ривкин заупрямится и не отпустит людей, пока вода не прибует.

И вот в одно утро Амур в самом деле поднялся. Река выглядела так, словно за ночь в нее влилось море воды. Амур раздался вширь и покрылся пеной. Теперь страх обуял всех. Послышались крики. По расчетам Ривкина, работы осталось еще дней на шесть. Дни стояли хорошие, солнечные. Небо было ясное, и только кое-где над горами плыли белые облака, порою принимавшие зловещий оранжевый

оттенки. Работали теперь с еще большим напряжением. Отдыхали только минутами, затягиваясь махоркой. Ребята молчали и с возрастающим страхом в глазах следили за небом. Работали до поздней ночи. Всех охватило одно желание — выполнить план раньше срока, вывести коммуну из опасности и уехать до начала наводнения. А в том, что наводнение неизбежно, теперь уже никто не сомневался. Страх еще больше усилился, когда из Орловки вернулась лодка с хлебом и ребята сообщили, что старый рыбак Лопатин спит уже на чердаке и что все жители поселка взволнованы: говорят, наводнение начнется скоро и будет очень сильным. Это сообщение повергло в панику старика Брейтера:

— Надо отослать людей! Пропадем здесь! Каторжные мы, что ли?

Он носился как помешанный по берегу, ломал руки.

Берка не отставал от старика. Он тоже шумел:

— Довольно повалялись на Амуре! Надо сейчас же отослать людей! Он хочет жертву принести! — указывал он на Ривкина.

Был сумеречный час. После трудного рабочего дня ребята сидели за столом и лениво жевали. Река сердито несла свои разбушевавшиеся воды.

Файвка сказал, обращаясь к Рубину (они в последнее время крепко подружились):

— Это признак, что наверху Амур рвет берега.

Белая пена развязала всем языки. Начался страшный шум. Все старались перекричать друг друга. Тогда Ривкин встал и посмотрел на крикунов, выжидая, пока на берегу станет тихо. Когда люди умолкли и стали слышны только рев Амура да ленивое похрустывание лошадей, Ривкин тихо сказал:

— По какому случаю шум? Тридцать восемь стогов уже сметано. Еще десять — и мы выполним план... Обеспечим себя сеном на весь год...

Берка понял, что сейчас надо помешать Ривкину. Его послушают и согласятся. Он крикнул во весь голос:

— Ему хочется людей погубить, десять стогов сметать, в то время как здесь ни на одну ночь больше оставаться нельзя! Надо сейчас же отослать людей!

Ривкин сохранял спокойствие.

— Никого отсылать не будем. Людей никто губить не собирается. Никаких жертв не допустим. Лодки стоят наготове. В любую минуту можно сесть, и мы спасены. Нечего бунтовать!

Он говорил тихо, ясно и убедительно. Но старик Брейтер, которого трясло от страха, чуть не расплакался:

— А если это будет ночью и все как раз будут спать?

Ривкин улыбнулся. Послышался звонкий

смех Груни. Это еще больше разозлило Брейтера:

— Пускай тогда останется молодежь! А семейных надо отослать домой!

Файвка молчал. Он только искоса посмотрел на Берку, презрительно усмехнулся и, отвернувшись, сплюнул. Берка шагал по берегу и кипел от злости.

Когда все забрались в комарники, ячейка собралась в одной из лодок, которые были привязаны к берегу, и устроила заседание.

Лодка покачивалась на воде. Ребята сидели задумавшись и молчали. Казалось, что каждый ждет, пока начнет другой. Фрид смотрел на Амур, который с шумом бежал к хмурым горам. Ривкин тоже задумался. Ему не по душе молчание Фрида. Но взгляд его встретился со взглядом Груни, и тишина нарушается.

— Ну, стало быть, так... Наводнение приближается, а план мы обязаны выполнить! Такая зима, как в прошлом году, не должна повториться! Пять хороших дней работы всех, или восемь дней при половинном составе, — и план выполнен!

— Значит, надо часть отослать домой? — спохватился Фрид.

— Обязательно! — ответил Ривкин. — Но сделать это нужно организованно.

— Надо обсудить вопрос о Берке, — сказал Златкин.

— Что обсуждать? — спокойно спросил Ривкин.

— Он устраивает панику, агитирует, чтобы удирали домой!

— Брось, Златкин! — перебил Ривкин. — Никто не убежит. А поведение Берки обсудим, когда вернемся домой. Вся коммуна решит вопрос о нем.

— Этакая стервоза! — выругался Златкин, сердито поглядывая в сторону Беркиного комарника.

— Значит, людей мы кое-как обеспечим, — продолжал Ривкин, — машины тоже можно хорошо поместить. Если привязать их к дереву или к стогу, они останутся на месте. А лошади? Пятнадцать лошадей... Вот об этой «мелочи» никто не подумал... Каждый думает, как бы свои потроха спасти, а об остальном забывают.

— Не забывают. Просто некогда было подумать, — отозвался Фрид, словно оправдываясь. — Послушаем, что скажет Груня.

Груня полагает, что ячейка должна решить, кого отослать домой, а кого оставить. Добровольцев здесь быть не может, так как оставить нужно наиболее сильных и выдержанных.

Но Ривкин возражает:

— Кто поднимет руку, тот и останется. Это и будут лучшие и наиболее сильные.

Он посмотрел на бушующий Амур и добавил:

— Надо послать человека в Хабаровск за катером и баркасом. Послать сейчас же, как только начнет светать, когда рыбаки

поедут в город. Сейчас надо действовать энергично и быстро.

На этом заседание было окончено. Ривкин встал.

— Ну, стало быть, без колебаний... За работу!

Звезды на небе уже начали гаснуть. Ривкин подошел к воде, взглянул на водомер: «Поднимается!» Потом потянулся и вздохнул: «Ну что ж!» И спокойно подумал: «Ничего, есть у нас крепкие трудовые руки... Вот с ними мы и одолеем разбушевавшийся Амур...»

В обеденный час по острову прокатился звон стали. Собрания все ждали с нетерпением. Отъезд Фрида в город был для всех неожиданностью. Люди устремились к стогу, откуда доносился звон и где стояли котлы с варевом.

По всему острову разносится звонкий смех Груни. Она смеется, а Рубин якобы сердится: слышать смех Груни ему очень приятно.

— Черт возьми, экая у вас сила! На косьбе меня Файвка замучил, а на скирдовании — ты. Но я тебя одолею, Груня, — говорит он тише, и теперь они смеются уже оба. При этом Груня обнажает ослепительно белые зубы.

Долго сидеть за обедом и отдыхать сейчас некогда. Перед глазами бежит Амур, покрытый белой пеной. Тучи проносятся над горами. В воздухе пахнет надвигаю-

щейся бурей. Ривкин встал с места и начал:

— Амур с часу на час поднимается все выше, еще день-другой, и он захлестнет берег острова. Фрида послали за спасательным катером для лошадей и машин. Людей перевезут через Амур, а там они пешком доберутся до дома. Долго оставаться здесь нельзя. К предупреждениям рыбаков надо прислушаться. Они говорят, что из Благовещенска двинулся первый водяной вал, который через два дня будет здесь. Затем придет второй вал, который зальет весь остров. Но нас здесь уже не будет. Мы свою работу закончим раньше. Наш план будет выполнен. Стогам вода не помешает. Они стоят на высоких местах.

Ривкин говорил быстро. Сейчас каждая минута на учете. Один только Берка ворчит что-то, обращаясь к старику Брейтеру. Ривкин знает наперед, что о нем может говорить Берка. Он не желает пререкаться с ним, так как по глазам ребят видит, как растет у них доверие к его словам. Он продолжает:

— Ячейка постановила отослать домой людей, которые чувствуют себя слабыми в настоящий момент и боятся оставаться на острове. Нам надо еще поработать, но мы никого не принуждаем. Все вы коммунары, каждому должно быть дорого свое хозяйство, каждый должен любить свою новую родину, которую он строит в тайге честным трудом. Поэтому мы ставим на голосова-

ние: кто за то, чтобы оставаться на Амуре, пока мы закончим работу? .. Кто против? .. То есть кто хочет сейчас же уехать?

Поднялись две руки и тут же смущенно опустились.

— Ну? — спросил Ривкин. — Больше никто не хочет ехать домой? Один только Брейтер?

— За стогом шепчутся, а на собрании пугаются! — брызжит Брейтер.

Берка тоже чувствует себя неважно. Он думал, что его рука поднимется тридцатой, но быть вторым у него духу не хватило.

После собрания расходятся с разговором и смехом. Рубин идет в обнимку с Груней. Он шепчет ей на ухо, что они построят себе домик, и будет там тепло и светло, радио будет играть и приносить вести со всей огромной страны. И письма они будут писать своим старикам-родителям вдвоем.

Груня смеется.

— Будем соревноваться, Рубин? — предлагает она, улыбаясь.

— Есть! — соглашается Рубин. — Давай, Груня, соревноваться!

Теперь все соревнуются, и работа идет еще веселее. Каждая секунда на счету. Люди охвачены желанием закончить дело до того, как остров зальет.

Под ногами возникают ручьи. На рассвете вода была по щиколотку, а к вечеру — уже выше колен. Низины на острове залило. Вода все прибывает, ручьи разра-

стаются, и никто понять не может, откуда их столько берется.

Возвращаясь вечером с работы и натыкаясь на вновь появившиеся ручьи, Рубин объясняет Файвке, почему бьет из-под земли вода.

— Ты ученый парень, — говорит Файвка, — ты бы мог быть агрономом.

— Рабочий тоже должен быть ученым. Ученому легче даются все работы.

— А мне и так не трудно.

— Кто учился, тот и с машиной легче управляется, — продолжает Рубин. — А для чего, думаешь, существуют техника и механизация? Ты сам видал, сколько может скосить машина, а сколько — человек. Ты, Файвка, парень молодой, тебе надо бы учиться, вырос бы человеком. Мог бы еще и агрономом и техником или инженером стать. Даже ученым, Файвка!

— Это я и без тебя знаю. Может быть, я и пойду учиться.

Они идут с вилами на плечах. Шагают по пояс в воде. Теперь уже трудно угадать, кто из них называется «благородным юношей», да и сам Файвка уже очень редко вспоминает это прозвище. Отличаются они друг от друга только манерой разговаривать. Рубин любит давать добрые советы, а Файвка неизменно отвечает с улыбкой, что он и сам все это знает.

Идут все глубже и глубже в воду. Некоторые места приходится обходить стороной.

— Знаешь, — говорит Файвка, — пора уже сматывать удочки.

— Похоже! — отвечает Рубин и морщится, почувствовав воду у живота.

Оба они, заговорившись, не заметили, как сделали большой крюк и пришли к палаткам последними.

На берегу было шумно. К своему изумлению, они услышали, что половину группы отсылают домой, и немедленно, ночью.

— Незачем здесь ночевать! — кричит Ривкин. — Дорога по ту сторону берега прямая и еще сухая, ночь светлая, к утру будете в коммуне, а работы и там достаточно.

— Что случилось? — спрашивает Рубин. — Почему так внезапно?

Оказывается, моторная лодка снова подъезжала к берегу, пограничники посоветовали ребятам, что делать, и спешно отплыли к границе.

Никто не расспрашивал, что именно говорили пограничники, никто даже не пытался угадать, и без того все было понятно. Никаких собраний сейчас не устраивали, рук не поднимали, и всякий, кому Ривкин приказывал, укладывал свой узелок.

Груня встретила Рубина с выражением смущения на лице.

— К сожалению, мы должны расстаться как раз сейчас, в такую трудную минуту, — сказала она кокетливо. — Ривкин отсылает меня домой, он хочет нас разлучить...

— Езжай, езжай, Груня, через несколько

дней мы увидимся в коммуне. Жди меня «у врат града»...

Они стояли на берегу, держались за руки и смотрели друг другу в глаза, а когда с лодки крикнули: «Груня, едешь?», — расцеловались у всех на виду, просто, без всякого жеманства.

Лодки поплыли по Амуру. Оставшиеся на берегу смотрели, как стремительно несется река, как перекатываются ее волны.

— Хорошо, что на веслах сидят крепкие ребята.

— А все равно заносит.

— Дальше Орловки не уедут.

— Их и в Хабаровск может занести.

— Ну и что за беда? Поедут домой поездом.

— Нет, далеко не унесет, — сказал Рубин. — Хорошо, что они идут наперерез и вверх по течению: так не снесет.

Лодки скрылись из виду. Небо хмурилось.

— Хоть бы дождя не было! — тихо, словно про себя, проговорил Ривкин.

Ночью Ривкину не спалось. Он сидел и смотрел на горы, укутанные серым, на Амур, который с бешеной скоростью гнал свои воды. В одном месте берег острова прорвало, и вода широко разлилась, поглотив большую часть поля. Это произошло буквально на глазах у Ривкина. «Хорошо, что не на другой стороне, — подумал он, — там завтра ведь работать надо, там еще копны стоят, там еще стога сметывать надо...»

Рубину тоже не спалось. Он вышел на берег.

— Поднимается? — спросил он Ривкина.

— Берег прорвало.

— Что? Где?

— А вон, слева.

— Ну?

— Ничего.

— Работать еще можно будет?

— Теперь это уже не так важно.

В крайнем случае будет на три тысячи пудов меньше. А может быть, завтра рано утром удастся кое-что сделать. Но меня беспокоит, что Фрида еще нет, меня лошади волнуют... Пятнадцать лошадей!.. Воду так и гонит! Надо как можно скорее уходить отсюда. Иначе это плохо кончится. С моторной лодки уже предупреждали...

Он блуждающим взором окидывает Амур, остров, на котором то тут, то там под лунным светом вспыхивает разлитая вода, и направляется к лошадям. Лошади стоят, насторожив уши. В эту ночь они беспокойны, при малейшем шорохе вскидывают голову и смотрят тревожно. Сокол следит за каждым движением Ривкина, и когда тот подходит, конь вытягивает свои трепетные ноздри и пристально глядит на него.

— Лошади чувят опасность даже на большом расстоянии, — говорит Ривкин, обращаясь к Рубину, который ходит за ним, не в силах сдержать охватившую его дрожь. Что-то очень неприятное чувствует Рубин в

молчании Ривкина, — в таком настроении он видит его впервые.

— Да, — подтверждает Рубин — лошади очень чувствительны. . . А ты думаешь, что опасность так близка?

— Для лошадей, конечно. На лодках их не перевезешь. Если второй вал накатится до того, как придет катер, лошади пропали! А тогда. . .

Они сидели на берегу и смотрели на воду: волны бежали одна за другой, накатывались друг на друга, вставали гигантскими горами, обрушивались в водяные ямы и бездны.

— Чего это ты не спишь? — спросил Ривкин.

— Так, не спится, — ответил в раздумье Рубин.

Его удивлял и злил вопрос Ривкина, который звучал сухо и грубовато, точно Рубин был здесь чужим человеком. . . Эх, была бы здесь сейчас Груня, он бы перед ней душу излил. Она такая простая, сердечная. . .

— Груня домой уехала? — спрашивает неожиданно Ривкин.

— Ведь ты же сам ее отослал.

— Ах, да. . . Забыл.

Вопрос Ривкина взволновал Рубина. Он смотрит на Ривкина с неясным подозрением. Что-то он его не узнает. . . Какой-то он не такой, как вчера. Что с ним? Что привело его в такое состояние?

— Да, я отослал ее домой, — говорит Ривкин после минутного молчания. — Хотя

Груня — девка здоровая, живая и очень славная. Что теперь женщинам делать на Амуре?

Рубин смотрит на него искоса и недоумевает. К чему он это говорит? Рубину вдруг становится не по себе рядом с Ривкиным. Он оставляет его на берегу, а сам забирается в комарник.

А Ривкин следит за ним остановившимся взглядом и не может освободиться от мыслей, которые лезут в голову: «А не был ли весь героизм этого «благородного юноши» показным? Не делалось ли все это ради Груни? Не стал ли он ударником, полагая этим взять Груню? Не затеял ли он соревнования с самым сильным только потому, что Груне это нравится?» Однако Ривкин не может забыть, как работал Рубин. Эта работа опровергает все дурные мысли о нем: «Ведь он заключил договор с Файвкой еще до того, как приметил Груню. А на сенокос он пошел добровольно». Ривкин вспоминает, в каком виде вернулся с острова Рубин после первых дней — с искусанным лицом, с заплывшими глазами. Нет, Рубин доказал, что ничего плохого о нем подумать нельзя. Но что касается Рубина и Груни, то он не может отделаться от чувства досады. Ее зеленоватые глаза всегда вызывали в сердце Ривкина сладостный трепет, но некогда было ему прислушиваться к своему чувству. Вот он и испытывает сейчас боль и досаду.

Но теперь уже поздно.

Вдруг он почувствовал на затылке теплое дыхание.

— Сокол! — весело крикнул он, поднялся и обнял стройную шею коня.

Ривкин хлопал его по бокам, гладил морду. Сокол мигал большими глазами, вытягивал морду. Он почуял тепло руки Ривкина и был очень доволен встречей. Они хорошо знают друг друга. Сокол — первая лошадь в коммуне. Он много сил отдал ей. Теперь Соколу тоскливо, глаза его туманятся, уши насторожены, а чувствительные ноздри трепещут.

К утру Амур немного присмирел. Серый туман на горах расползся и выглянуло солнце. Ривкин сел на Сокола и поскакал взглянуть, можно ли еще работать. Сидя на коне, он увидел ручьи, которых за ночь стало еще больше. Вчерашние и прежние так раздались вширь, что еще день, и все они сольются и затопят остров.

К копнам уже вела водяная дорога. Соколу вода доходила до живота. Копны были наполовину затоплены. Завтра они могут оказаться целиком под водой. Ривкин осмотрелся вокруг, нашел самое высокое место, до которого вода еще не дошла, и повернул Сокола обратно, сказав самому себе: «Надо спасти столько, сколько возможно!» Он разбудил коммунаров, и пятнадцать человек, оседлав коней, отправились отрабатывать последний день.

— Мокрого не класть! — крикнул Ривкин. — Снимать до мокрого слоя, заклады-

вать фундамент для стога в три тысячи пудов!

Это были лучшие, наиболее сильные и преданные парни. Среди них были Файвка и Рубин. Теперь они встретились с вилами в руках. И только здесь, таская тяжелые вилы сена к стогу, шагая весь день по воде и работая с необычайным напряжением, Файвка подумал о Рубине:

«Вот парень! Приехал в белом воротничке, с белым лицом и руками, с нежной кожей, не привыкший ни к какой тяжелой работе, а теперь подставляет плечи, совсем как наш брат!» Он следил за работой Рубина. И ему нравилось, как энергично Рубин втыкает вилы в копну, как присаживается, обеими руками подсовывает вилы, поднимает копну над головой и несет ее к стогу. Рубин не отдыхает, работает без передышки. Брюки засучены выше колен, он шагает по воде искусанными ногами и работает быстро, словно торопится куда-нибудь. Файвка работает рядом и негласно соревнуется с ним. Он рад за Рубина, за этого «благородного юношу», который стал теперь для него своим человеком. Но не только Файвка и Рубин сейчас так работают — все напрягают свои силы до предела.

Так работали до поздней ночи. Вода прибывала. Ребятам она доходила до пояса, а лошади на пути к палаткам подтягивали животы и вскидывали головами.

Возле палаток отдыхали. Ребята отря-

хивались, как лошади после дальней дороги. Они чувствовали себя, как гости, прибывшие чересчур рано на свадьбу: гнали лошадей, торопились, чтоб не опоздать, а приехали, оказывается, первыми. Жениха с родителями еще нет...

— Зачем же было так торопиться? — спросил Златкин.

— Ты не смотри, что Амур сейчас не играет. Он ведь кипит, смотри, как заполнился остров, сколько ручьев появилось. За ночь мы можем оказаться окруженными водой.

— Это все еще первый вал надвигается?

— При втором ты уже ходить не будешь.

— Будешь валяться, как дохлятина!

— Поплывешь!

— Ребята! — кричит Ривкин. — Поменьше острот! Заливает шалаш. Вода ползет с боков. Давайте подтащим машины к палаткам. Надо лошадей покараулить.

Подтащили машины к палаткам. Все подозрительно поглядывают на Амур, а он спокоен, его гладкая поверхность простерлась, как скучная серая равнина. И только бока у него набухают. Теперь уже не надо ходить к берегу за водой или умываться, — достаточно протянуть руку, чтобы достать до воды.

Ночью караульщики сообщили:

— Амур разгулялся, рвет и мечет. С гор прибегают дикие козы. Вода прорвала дру-

гой берег. Она прибывает и заливает остров!

Амур и в самом деле срывал берега. Вода бежала к палаткам. Весь остров выглядел, как большая река, на которой стоят стога... Коммунары с лошадьми и машинами остались на узкой полоске земли. Кругом вода. Место, где стоят люди, — самое высокое на острове, но и оно становится все уже и короче. С трех сторон наступают вода, с четвертой — Амур подмывает берег.

Из партийцев и комсомольцев здесь остались Ривкин, Рубин и Златкин. Они решили немедленно отправить всех. Только они втроем да еще Файвка останутся дожидаться спасательного катера. С уехавшими передали: «Тарабаровский остров почти весь затоплен, на нем осталось четыре коммунара и пятнадцать лошадей. Они ютятся на последнем клочке суши. Амур бушует, идет второй вал. Если не будут приняты экстренные меры, то люди и лошади погибнут».

— Гребите быстрее! Передайте исполкому! — кричал Ривкин вслед лодкам, направляющимся к противоположному берегу, где тропа вела через тайгу к коммуне.

Моторная лодка, как всегда, дважды в день пересекает Амур. Но теперь она движется быстрее, и мотор ее сильнее шумит на воде. Коммунары следят за быстрым ходом моторки и с тоской прислушиваются

к стихающему стуку ее мотора. Ночью коммунары дежурят вчетвером, днем спят по очереди.

— Я вот что придумал, — говорит Ривкин. — Коней привяжем к стогу, а сами заберемся на него.

— Ты собираешься здесь зимовать? — спрашивает Файвка.

— Нет не зимовать, но лошадей мы тут не оставим.

— Разумеется.

Полоска земли становится все уже и уже. Амур отрывает куски берега. Вдруг исчезла бочка соли. Оказалось, что река проглотила ее вместе с большим куском суши. А Фрида все еще нет. И катера не видать.

К вечеру на реке показался дымок. Судно шло вниз по Амуру, к Хабаровску. Рубин посоветовал вложить записку в бутылку и пустить ее по воде к судну...

— Совет твой, конечно, очень мудрый, — сказал Файвка, — но на записке напиши адрес судна, чтобы бутылка пришла по назначению...

Файвка нашел другое средство. Он схватил кусок жести, быстро свернул его в трубу, посадил Ривкина к себе на плечи и велел ему крикнуть:

— Передайте исполкому — прислать катер, спасти четверых коммунаров, пятнадцать лошадей!..

Похоже было, что судно замедляет ход, но через минуту оно скрылось из виду...

В середине дня слышалось однотонное, не очень веселое тарахтенье катера. На Амуре снова показались куски пены — признак того, что река Сунгари влила в Амур второй вал воды. Палатки были уже подмочены. Дальше оставаться на полоске земли, которую уже затопляло, было невозможно, и коммунары собирались лезть на стог.

— Катер стучит! — воскликнул вдруг Златкин.

Все всполошились. Лошади подняли головы и насторожились...

— Катер!

— Спасены!

— Взнуздать лошадей!

Ребята бросились к лошадям и готовы были целовать их. Веселый перестук мотора приближался.

— Эй! Эй! — донеслось с катера.

— Фрид...

— Он, он!

— Подтянуть поближе машины! — крикнул Ривкин и, ухватив косилку, потащил ее к берегу.

Ребята тянули машины, не отрывая глаз от катера, который торопился к ним.

— Кто там вместе с Фридом? Еще кто-то едет?

— Где?

— Да вот, кто-то еще, старик.

— Погребицкий?

— Да, кажется, он.

Ветер ерошит седые волосы старика

Погребицкого, скулы у него подергиваются, он серьезен, как человек, выполняющий очень важное поручение: он секретарь партийного комитета коммуны, этот старый сапожник. Ему поручено спасти героических коммунаров.

— Никаких машин! — кричит старик. — Только живой инвентарь! Таково решение спасательной комиссии исполкома!

Ребята привязывают накрепко машины к стогу, закрепляют их цепями и веревками. Лошадей вводят на баркас и направляются вниз по Амуру.

Уже будучи на воде, Ривкин вдруг что-то вспоминает, поднимается и говорит, словно рапортуя:

— Товарищ Погребицкий, план выполнен... На Тарабаровском острове заготовлено семьдесят тысяч пудов...

— Ладно, ладно... — прерывает старик. — Потом отрапортуешь... В парткоме.

Файвка смотрит на широко разлившуюся воду, и его охватывает необычайная радость. Он приваливается к стенке и вдруг затягивает во весь голос:

У китайцев генералы —
Все вояки смелые!..

— Главное, — говорит старик, — корма коммуны обеспечена, а?

— Факт! — весело отвечает Ривкин, и победный огонек вспыхивает у него в глазах.

1933



СОСТОЯНИЕ

С тех пор, как Авром-Бер живет на золотых россыпях, он впервые находится там, куда каждый вечер сдают добытое за день золото и «где запираются на семь замков», как говорил он в шутку, но и не без зависти. Он снял пиджак, засучил рукава выше локтей, лицо его разгорелось, рыжая, коротко стриженная бородка казалась красной, а глаза, обычно матово-серые, сейчас блестят и отливают медью.

Золото...

В маленькой комнате конторы в этот поздний ночной час шла тихая, но очень серьезная работа: взвешивали золото. Каждый вечер там запираются двое: на-

чальник россыпей Ситников — высокий таежник с постоянно серьезным лицом и с серыми жесткими усами, который говорит в шутку, что весь его жизненный путь усыпан драгоценным золотым песком, и молодой, недавно присланный сюда парторг Петров, который утверждает: золото потому ценно, что его мало, а нужно много. И еще: не всегда золото будет обладать своей притягательной силой, но до тех пор, пока оно все еще много значит на чашке весов, приходится как можно глубже и энергичнее потрошить матушку-землицу.

— Вот, — почти весело говорит парторг, указывая на золото, которое они готовят к отправке. — Этот месяц дал нам порядочное количество сего благородного металла, но нам нужно добыть еще больше! — Он посмотрел на Авром-Бера и утвердительно кивнул головой, что должно означать: да, страна нуждается в золоте, дяденька.

Авром-Бер, потирая руки, качнулся вправо, потом влево, и коренастая его фигура двинулась к ящику, стоявшему посреди комнаты. Так, бывало, до революции он обхаживал богатых, почтенных пассажиров. Авром-Беру сейчас, собственно, нечего было делать. Его позвали, чтобы он немного подождал, а потом запряг бы лошадей. У Авром-Бера кончалось терпение, и он начал укладывать в ящик взвешенные мешочки с золотом.

— Не могу стоять без дела, — сказал он, потирая руки.

Начальник и парторг кивнули и начали молча передавать ему мешочки. Почувствовав в своей загрубелой руке первый мешочек, Авром-Бер короткими пальцами прижал скользившие золотые песчинки. Ему показалось, что в мешочке трепещет что-то живое...

В комнате было тихо, занятые и серьезные, стояли у стола Ситников и Петров, взвешивали золото, тщательно записывали точный вес и шепотом перебрасывались словами. За окном, запертым двойными ставнями, слышались размеренные шаги караульных, а издалека доносились тяжелые вздохи гидравлического элеватора и торопливый шум мониторов: на россыпях работала ночная смена.

Авром-Бер стоял, склонившись над ящиком, опустив в него руки, и странная мысль сверлила ему голову. Он, пятидесятилетний старик, лет тридцать тому назад похоронивший свою мать, сейчас, стоя над ящиком золота, почему-то вспомнил о том, что мать умерла очень тяжелой смертью.

Он как сейчас помнит ее мучения...

— Уснули, дяденька?

Авром-Бер спохватывается и выпрямляется, почувствовав руку у себя на плече.

— Нет, что вы, как можно? — с напускной шутливостью отвечает он. — Вспом-

нил, — смеяться будете, — мать свою вспомнил!

— Соскучился, старик?

— Да не в этом дело. Прошло уже тридцать лет, как она скончалась, а вот вспомнил, сам не знаю, отчего и почему, — сказал Авром-Бер, смущенно улыбаясь и почесывая бородку. — Жалко было смотреть, как она, бедная, мучилась, очень уж тяжело умирала. Бабушка моя, ее Сорё-Итой звали, прямо таки убивалась. Она даже к знахаркам побежала.

— Это чтоб помочь матери умереть? — спросил Петров.

— Видно, так! — недоуменно улыбнулся Авром-Бер.

— Врача бы лучше вызвали, — говорит Ситников.

— Ах, — махнул рукой Авром-Бер, — да разве врачи помогут? Она и так уж сколько лет пролежала, не вставая, все молила бога о смерти...

— А знахарки что же? — спросил Петров, сдерживая улыбку.

— Они посоветовали вложить в руку матери золотой, — тогда ей легче будет умереть.

— Как это? — удивляется Петров, вопросительно глядя на Авром-Бера.

— Басни! — говорит Ситников, не отводя глаз от весов.

— Не басни, а средство для легкой смерти, сказали, как сейчас помню! — уверял Авром-Бер.

Ситников и Петров посмотрели на Авром-Бера, который вдруг задумался.

— Ну и что же? Дали матери золотой? — спрашивает Петров, снова сдерживая улыбку.

— Где его возьмешь? — ответил Авром-Бер, махнув рукой. — Всех родственников обошли, — нигде не то что золотого — следа его не нашли: извозчиками были, откуда у извозчиков золото... — Он сплюнул в сторону, вытер усы и протянул руку за очередным мешочком.

Сразу же за последними деревенскими избами начинается узкая дорога, ведущая к пологому взгорью. На эту дорогу в сопровождении четырех вооруженных всадников выехал Авром-Бер. Усевшись на возу, он опирался спиной об ящик. Ночь была темная. Двигавшиеся тучи заслоняли звезды и грозили дождем. С гор подул ветер и принес острый запах диких цветов. Авром-Бер громко чихнул.

— Застигнет нас в дороге дождь? — спросил Борис, молодой, стройный парень, который держался вплотную к возу.

Авром-Бер поднял голову, взглянул на небо и сказал:

— Нет, тучи идут в Маньчжурию.

— Проедем восемнадцатый километр, а там пускай себе льет, — говорит Борис, искоса поглядывая на Авром-Бера.

— Да, восемнадцатый... — Авром-Бер потер кулаком бороду. — И до тридцать

восьмого дождя не будет. А уж восемнадцатый проедем сухими.

Борис повторяет:

— Все же когда проедем восемнадцатый, вздохнем спокойно, хоть и дождь будет. Вперед!

Авром-Бер отпустил вожжи, чтобы помочь небольшим, хорошо кормленным лошадам взобраться на пригорок. Дул тихий ветерок. По обеим сторонам дороги с негромким бормотанием бежали ручьи, несущиеся с гор. Авром-Бер сидел на возу по-прежнему, опершись об ящик, и в голове у него мелькала веселая мысль о «пассажирах», которого он везет... Это, пожалуй, самый богатый из всех пассажиров, которых ему когда бы то ни было приходилось возить... Он пытается прикинуть, сколько может стоить этакий ящичек золота. Авром-Бер вспоминает богатых пассажиров, которых он когда-то возил. Самым богатым был Ицик Койфман — галантерейщик. Его «оценивали» в сто тысяч рублей. А сколько может стоить вот этот ящичек золота? — спрашивает он себя и улыбается в усы. Авром-Бер поднимается со своего соломенного сиденья, упирается локтем в ящик и обращается к всаднику:

— Борис, погоди минуточку.

Борис останавливает коня, поворачивается к Авром-Беру и ждет, пока тот поравняется с ним.

— Сколько, к примеру, может стоить вот этот ящичек золота?

Борис приподнял голову, точно желая лучше понять неожиданный вопрос.

— Стоить? — переспрашивает он.

— Да, да. Стоить. В рублях.

Вопрос этот звучит для Бориса очень странно. Уже не первый транспорт золота охраняет он, но ни разу ему и в голову не приходило спрашивать о стоимости.

— Это дело секретное, — говорит Борис. — Кроме начальника и парторга, никто этого не знает.

— Секретное? — переспрашивает Авром-Бер. И его почтение к «пассажиру» явно возрастает. — Секретное? Но — вес? Сколько он может весить? Ведь ты же его выносил.

— Это тоже секрет, — отвечает Борис, улыбаясь.

— Также секрет? Ну, приблизительно — пудом больше, пудом меньше...

— А сколько пудов, по-вашему, весит этот ящик?

— По-моему, верных пудиков пять! — говорит Авром-Бер, глядя на Бориса.

— Пудов пять?

— Думаешь, меньше?

— Больше.

— Например?

— Верных семь...

— Семь пудов золота?! — изумляется Авром-Бер. — Ведь это же состояние! Ведь это же стоит, быть может... полмиллиона!

Звонкий смех Бориса рассыпается по горам, нарушая предрассветную тишину.

— Этот человек понятия не имеет о своем богатстве! — произносит он наконец и, прищипорив коня, вырывается вперед.

— Неужели больше? — кричит ему вслед Авром-Бер, который окончательно растерялся от последних слов и хохота Бориса. — Больше полмиллиона? А? — и, не получив ответа, забирает вожжи в руки, задирает голову к небу, которое здесь, в горах, кажется таким близким, что вот-вот заденешь козырьком фуражки облака, и погоняет лошадей, теперь уже несущихся под гору.

На фоне голубого утреннего неба резко вычерчивались силуэты гор, расположенных на восемнадцатом километре. Авром-Бер шел рядом с возом, держа одну руку на ящике, а другой подгоняя лошадей. Возле него, не отступая ни на шаг, ехал Борис. Спокойно, но очень серьезно он шепотом втолковывал Авром-Беру:

— Не отходить от воза, гнать лошадей изо всех сил!

Авром-Бер слушал молча и чувствовал, как напрягаются его руки.

— А если мне придется драться, то как же: голыми руками, что ли? — тихо ворчал он. — Конечно, я могу и руками... Но вот у тебя на боку я вижу игрушку, да еще за спиной винтовка. — Он кивает головой на револьвер Бориса.

Борис минутку молчит. Он сидит как прикованный к лошади. И кажутся они

вылитыми из одного куска серо-коричневого металла. Борис напряженно вглядывается вперед, присматривается к ущельям.

— Револьвер? — спрашивает он, не глядя на Авром-Бера, и расстегивает кобурку. — Возьмите. Стрелять умеете?

— Кое-как! — ворчливо отвечает Авром-Бер, протягивая руку к оружию. Теперь он преисполнен уважения к своему новому «пассажиру».

— Спасибо, Борис! — говорит он дрогнувшим голосом и опускает револьвер в карман.

В горах повеяло ветерком. Облака ползут по горам, распадаются и тяжело опускаются на склоны. Вот здесь, в нагромождении гор, где подъемы так круты, где серые горные высоты усажены дико разросшимися скалами, — вот здесь, помнит Авром-Бер, в одно такое же серое утро пуля за пулей летели над его головой, а одна из них даже задела его ухо. Ухо залечилось, но сердце — нет. Оно несет в себе неизбывную досаду.

— Знаешь, Борис, — цедит он сквозь стиснутые зубы. — Попадись мне кто-нибудь из них живой... Золота им захотелось...

— Тшш! — произносит Борис. Он сворачивает с дороги и пускается к подножию горы. Авром-Беру он подает знак — подогнать лошадей, а к себе подзывает второго всадника, оставляя двоих у воза.

Авром-Бер держится обеими руками за вожжи, словно помогая лошадям спускаться с горы.

Осмотрев дорогу, Борис двинулся вперед и остановился там, где начинается спуск. В горах просыпался день. Небо прояснилось. Облака опускались все ниже и ниже, а горы стояли голубые и ясные.



СТРАННЫЙ ИЗВОЗЧИК

— Есть подвода! — крикнул еще до полной остановки поезда один из пассажиров, указывая на низкорослого человека, что стоял у вокзальчика с кнутом под мышкой и смотрел на прибывающий поезд.

Это восклицание вызвало веселый смех остальных.

— Подвода действительно есть, товарищ Зингер, но имеется и извозчик, — шмыгнул длинным, острым носом сутуловатый бухгалтер Файн, выходя из вагона и уступая дорогу Зингеру. — И вам, — добавил он с усмешкой, — конечно, придется с ним познакомиться.

— Ну и прекрасно! — подхватил това-

рищ Зингер. — Когда есть лошадь, подвода и даже извозчик, так чего же еще желать? — Он пробежал живыми черными глазками по вагонам уходящего поезда, застегнул воротник кожаного пальто, провел пальцем по клинообразной черной бороде и зашагал по влажному деревянному перрону, осторожно ступая до блеска начищенными сапожками. — Сейчас мы и поедем! — произнес он, указывая широким хозяйским жестом на маленький вокзал, около которого стоял извозчик.

— В таком случае вы не знаете нашего извозчика Эткина, — улыбнулся бухгалтер Файн. — Это, скажу я вам, такой пес с ушами, каких свет не видывал! Приехал он сюда недавно. Сам он портняжка из какого-то захолустья, а здесь сделался одним из самых заядлых патриотов Биробиджана. Пойдемте-ка лучше пешком, пока светло: не бывало еще случая, чтобы Эткин возил кого-нибудь с поезда в такую погоду. Идемте прямо к дороге, туда, куда все шагают! — Он указал на троих пассажиров, которые, даже и не подумав обратиться к извозчику, пошли по тропе, которая вела от железной дороги к домам, стоящим на сопке.

— Идемте, товарищ! — Файн осторожно тронул Зингера за рукав. — Тут всего семь километров. Ну его к шуту, — он все равно не возьмет.

— Нет, нет, — возразил Зингер, подняв голову, будто желая сказать: «Ничего, по-

смотрим, кто сильнее!» — и пошел прямо к вокзалу, глядевшему в вечерний сумрак единственным слабо освещенным окошком. — Поедем! — сказал он уверенно.

От того, что ему не придется шагать пешком, Зингер был в очень хорошем настроении, и поэтому он дружески поздоровался с извозчиком. Эткин так же дружески ответил, склонив свой кнут до земли.

— Сейчас поедем? — спросил Зингер, потирая руки.

— А что же, ночевать здесь? — ответил Эткин, окидывая пассажира небольшими серыми глазками из-под густых, но поблекших сердитых бровей. — Откуда будете? — спросил он, а его припухшие губы при этом не переставали шевелиться, словно они без ведома их обладателя кого-то проклинали. — А вы дороги не знаете? — обратился он недружелюбно к Файну. — Или тоже ехать хотите?

Бухгалтер не ответил. Он смотрел в сторону, словно был с извозчиком в ссоре.

— Вот видите, — сказал он Зингеру. — Я же вас предупреждал.

— Ничего, ничего, — успокоил его Зингер. — Поедем.

И тут же обратился к Эткину, совсем как свой человек, приехавший после длительного отсутствия:

— Неужели такая скверная дорога?

— А, дорога! — ответил Эткин и сдвинул шапку, словно желая получше разглядеть пассажира. — Не знаете наших дорог? Или

впервые у нас? — спросил он, и его маленькие слезящиеся глазки, пробежав по Зингеру, остановились на его начищенных сапогах, которым в самую пору стоять в витрине обувного магазина. — Кто же вы такой все-таки?

Зингер не спешил представляться: «Какой-то извозчик, подумаешь». Вся эта канитель начала его злить, однако он сдержался, закусил губу и сказал с усмешкой:

— Дороги ваши я знаю достаточно хорошо. И не первый год в Биробиджане. Я и у вас бывал уже не раз, а вот вы, видать, здесь новичок, если спрашиваете, кто я такой.

— Вот, вот, именно так, — согласился Эткин, — это вы точно угадали. Но кто же вы в таком случае?

— Кто я такой, вы узнаете позднее, скажу по дороге, а пока не будем терять времени! — повелительно произнес Зингер и огляделся по сторонам, ища взглядом коня с подводой.

Но Эткин не любил, когда ему ставят такие условия.

— Хотите сказать — говорите, не хотите — не надо. Ваш товар — мое шитье.

— Вот ведь клещ! — вмешался в разговор бухгалтер.

Он рассчитывал: одно из двух, — либо ему удастся сесть на подводу вместе с Зингером, либо он посмотрит, чем кончится этот любопытный разговор. Но так как Зингер не торопился сообщить извозчику,

кто он такой, то бухгалтер решил загладить ошибку гостя и сказал Эткину:

— Приехали бы к нам годика на три-четыре раньше, так и вы бы знали районного начальника снабжения.

— А-а! — вырвалось у изумленного извозчика. Он отошел на шаг и посмотрел на Зингера расширившимися глазами. — Так чего же вы молчите в таком случае? Ведь мы с вами чуть ли не родственники! — Он говорил быстро и оживленно. Глаза его заблестели, опавшие бледные щеки покраснелись. Эткин сдвинул шапку и, сжимая кнут в костлявых пальцах, продолжал: — Главное, молчит! Почему же вы мне сразу не сказали? Почему молчали? — Внезапно он притих и посмотрел задумчиво на Зингера, его губы задрожали еще сильнее. Потом он снова сунул кнут под мышку и с очень мягкой, любезной улыбкой сказал: — Погодите минуточку, сейчас поедем. Я только забегу на вокзал, возьму почту. Сейчас, сейчас едем! — Он сгорбился и быстро направился к начальнику вокзала.

— Вот видите, я говорил, что мы поедем, — сказал бухгалтеру Зингер. Он легко повернулся на каблуках и поглядел на хмурое вечернее небо.

— Это только благодаря вам, товарищ Зингер. Видали, как он заговорил? Начальство — это не шутки! — подробно рассмеялся бухгалтер, а его нос при этом вспотел и засиял от удовольствия. — Какой

чудак этот человечешко! Для него лошадь в тысячу раз дороже пассажира. Чуть пройдет дождик или на возу у него два-три пудика груза, уже он сесть не даст. Думаете, сам он поедет? Ошибаетесь. Он как собака на сене: и сам не гам, и другому не дам!..

Зингер положил руку на плечо бухгалтера и рассмеялся, прищулив глаз:

— Мало ли чудачков на свете, — сказал он, глядя на двери вокзала, — почему же Биробиджан должен быть исключением?

Когда Эткин вышел из вокзального помещения, был уже поздний вечер. Возле станции стало тихо. Начальник, который вышел вместе с Эткиным, постоял на пороге и, сладко зевнув, посмотрел в сторону дороги, по которой к тайге пешком шли пассажиры.

— Идемте! — поторопил Эткин. — По-едем скорее!

На плечах он нес туго набитый рюкзак, а в руке держал кнут. Он пошел вперед, за ним следом — районный начальник снабжения и бухгалтер. Часть пути прошли молча. Эткин шагал впереди со своими пакетами, а Зингер и Файн, каждый в отдельности, искали глазами лошадь и подводу. Но ничего не было видно. По одну сторону, далеко от дороги, темнел густой лес, а впереди, среди невысоких кустов, тянулась раскисшая дорога.

— Погодите-ка! — сказал Зингер, остановившись на двух кочках, выпиравших из

слякоти. — Может, вы бы подъехали сюда? Зачем вы ведете нас по грязи к лошади?

— Подумаешь, беда какая, — ответил Эткин, шевельнув острым локтем. — Скоро уже, вон там стоит лошадка! — Он прибавил шагу и поторапливал: — Давайте скорее! Сейчас сядете и поедете. — Эткин, ступая как попало, шел не оглядываясь. — Понимаете, лошадка у меня очень пугливая, смерть как боится поезда!

Шли все дальше и дальше. Зингер выискивал кочки, еле находил в темноте подсохшие места и злыми глазами смотрел на Эткина. «Вот дурак извозчик!» — яростно думал он.

— Ведь я же говорил вам, что вы не знаете нашего товарища Эткина. Такого странного извозчика еще свет не видал! — тихо прошептал бухгалтер и добавил: — Послушались бы меня, мы бы давно уже были на сопке.

Наступила ночь. Из леса надвинулась неуютная тьма, и Зингер уже не мог больше выискивать кочки, которые торчали из грязи.

— Эй, вы! Извозчик! — крикнул он Эткину, быстро шагавшему впереди. И, уже не жалея свои шикарные сапожки, Зингер пошел к нему напрямик. — Вы что это, шутки с нами шутите? Где лошадь?

Эткин повернулся к районному начальнику снабжения, выпрямился, вытянул длинную шею и с криком, который рассы-

пался по всему лесу, стеганул кнутом по голенищам зингеровских сапог:

— Ехать захотели, да? А пешком вы хворы ходить? Лошадей вам высылать к поезду, да? А овсом вы лошадей обеспечили? А? — Он так хлестал кнутом по воздуху, что кругом стоял сплошной свист. — Много ли вы овса припасли для лошадей, что хотите на них ездить?

Бухгалтер поспешил уйти вперед, а Зингер отступал, остерегаясь разгулявшегося кнута, которым Эткин размахивал направо и налево. И лишь когда извозчик увидел, что сапожки Зингера уже в грязи, он сошел с дороги и отправился домой.

Бухгалтер подошел к Зингеру, помог ему вытереть грязь. Оба молчали. Им неловко было смотреть друг другу в глаза. Файн хотел что-то сказать, он чувствовал себя виноватым перед Зингером, но не мог вымолвить ни слова. А Зингер был вне себя от злости. Он глубоко засунул руки в карманы пальто и пошел по дорожной грязи.

Отойдя на некоторое расстояние, Эткин обернулся. Он долго стоял и смотрел, как две фигуры двигаются во тьме. Еще раз щелкнув бичом, он пошел в глубь леса, обгоняя их по кратчайшей дороге, которую знал только он один.



ОДНАЖДЫ ВЕСНОЮ

Как раз в то время, когда трудные дни остались позади, когда все как будто пошло на лад, когда люди, пережившие немало трудных дней, устроились, кажется, навсегда, когда председатель колхоза Берковер, выглядевший, как человек, приходящий в себя после тяжелой и продолжительной болезни, поправил козырек фуражки и взялся за телефонную трубку — позвонить в областной центр и попросить, чтобы прислали новую партию переселенцев, — как раз в это время он увидел в окно завхоза Грина, шагающего по дороге, ведущей к соседнему украинскому колхозу.

Лицо Грина было хмуро. Он подошел к дверям конторы, тихо отворил их, молча уселся напротив Берковера и посмотрел на него усталыми глазами.

— Что случилось? — спросил Беркер, стараясь заглянуть поглубже в глаза Грина.

— Ничего, — ответил тот, отворачиваясь.

— А все-таки?

— Ничего...

Беркер энергично повернулся на стуле, так что тот даже скрипнул, наклонился к Грину и взял его руку:

— Ничего, говоришь?

Председателю казалось, что сейчас он услышит что-то такое, чего бы и слушать не следовало.

«Неужели это возможно? — спрашивает он себя и смотрит на хмурое лицо Грина. — Неужели опять на него эта дурь нашла?» Он сжимает кулаки, ему кажется, будто он, держа в руках вожжи, сейчас помогает толкать в гору тяжелый воз. Поэтому ни на минуту нельзя отпускать вожжи, нельзя допустить, чтобы колеса хотя бы на пол-оборота повернулись в обратном направлении...

Грин сидит опустив голову. В комнате нудная тишина. Беркер не выдерживает этого:

— Скажи как товарищу! Что случилось?

Грин не отвечает. Его широкие плечи нервно опускаются и поднимаются. Он вздыхает:

— Трудно так жить...

Прищуренные глаза Берковера впиваются в Грина. Он научился так заглядывать в глаза людям, которые приходили пугать его тем, что они уедут. Он научился различать, хотя бы они таким образом что-нибудь получить от него или действительно собираются уезжать. Но в глазах Грина он видит лишь мутноватую тусклость и вспоминает интимный разговор, который произошел между ними некоторое время тому назад. Грин пришел и сказал: «Трудно мне так...» И просил освободить его от работы. Тогда это свелось к отдельной комнате, которую ему предоставили в первом же построенном доме. Но сейчас Берковер видит по глазам Грина, что возникла трудность иного рода, и он не знает, сможет ли теперь помочь. И Берковер, который на целый десяток лет моложе Грина, почувствовал себя в положении сына, вынужденного сватать невесту своему отцу.

— Что же, — спрашивает он с натянутой улыбкой, — с Настей так-таки ничего не выходит?...

— Эт... — машет рукой Грин и отворачивается к окну.

Берковер не знает, что, собственно, означает это многозначительное «эт...» Он знает только, что с тех пор, как Грин познакомился с Настей, он стал другим человеком, как будто бы даже помолодел.

— Что ты, — говорит Берковер, — ведь она же очень славная!

Грин резко поворачивает голову и придвигается поближе к окну, шея у него краснеет.

— Нечего стесняться, — успокаивает его Берковер. — Ведь и я холостяк. Думаешь, я не чувствую, как трудно... И в самом деле, сколько же времени можно так? Я и сам хочу начать жить по-человечески! Сейчас вот позвоню, чтоб прислали партию переселенцев...

По лицу Грина расплывается улыбка. Он чувствует теплоту в словах Берковера и поворачивается к нему. На щеках у Грина играет румянец, будто он чувствует себя немного виноватым. Он говорит усталым голосом:

— Ты понимаешь... Ведь нам всегда для жизни, как говорится, «трех четвертей не хватало». Ты же это хорошо знаешь... Не за что было уцепиться. А здесь... Черт побери!.. — Он указал рукой на тайгу, которая сияла предзакатной красотой, и умолк. На губах его осталась застенчивая улыбка человека в годах, который вдруг почувствовал в себе детскую мягкость.

Эти разговоры Грина — не новость для Берковера. Нечто подобное он уже слышал от него и боялся, что Грин опять скажет: «Придется мне ехать в центр». Сейчас, считает Берковер, это было бы равносильно тому, что из наружной стены почти законченного здания вынуть большой кусок. Поэтому он говорит:

— Погоди, братец, вот пришлют новых переселенцев...

А потом, когда Берковер держал в руках телефонную трубку, он вспомнил о Грине и попросил, чтобы среди переселенцев обязательно было несколько хороших девушек. «Ведь лучшие люди уезжать хотят!» — изо всех сил кричал он в трубку.

Окончив разговор и как будто успокоившись, Берковер посмотрел на дорогу, ведущую в соседний украинский колхоз, и весело сказал себе самому:

«Нет, он действительно шляпа — наш Грин: столько девушек за это время приехало...»

Это было совсем недавно, ранней весной.

Снег на полях уже растаял. Из земли пробивалась первая травка и словно зеленым плюшем покрывала поля и берега рек. Вода в реках побежала с веселым шумом. Сквозь тишину ночи далеко в тайге было слышно ее веселое бормотание.

Грин охватывал ночь горячим взором. Он впивал эту раннюю зарю весны. Он чувствовал в жилах ток свежей крови, свежей и чистой, как вода в той реке, что течет у его ног.

Там, вдали, дома украинского колхоза, где живет Настя. Огней уже давно нигде нет. Колхоз спит. Гармошки замолкли. Песен тоже не слышать. И Настя спит. «А спит ли она?..» Вчера она сидела с ним возле речки. Он и сейчас еще, кажется, слышит

ее смех. Грин настораживается, прислушивается, но кругом тихо. Только вода в речке лепечет.

Грин вспоминает:

«Ты старый!» — шептала Настя ему на ухо и смеялась, когда он, положив руку на сердце, клялся, что помолодел здесь.

«Что люди стареют — слыхала, а чтоб помолодели — никогда». Так, смеясь, она и ушла домой.

«Больше не приду!» — крикнула Настя в открытое окно.

«Неужели больше не придет?..»

Когда Грин ушел от реки, была уже глубокая ночь. Окна домов сияли лунным светом, а на крышах раскачивались тени ветвей. Спокойными шагами вошел он в свою комнату. Лег. В широкое окно светила луна и освещала два больших чемодана, залепленные разноцветными таможенными ярлыками.

С этими двумя чемоданами Грин подружился, когда был еще молод. Один на другой наклеивались ярлыки: на аргентинском — уругвайский, а на уругвайском — бразильский и на бразильском — ярлык французской таможни.

«Все это — годы, — думает он, глядя на разноцветные бумажки. — Моя жизнь... А сейчас?..»

«Ты старый», — звенят у него в ушах слова Насти. Да, он и в самом деле стар. Вот они — немые свидетели прошедших лет — эти два чемодана. Но Грин чувствует

себя так, будто он только что уехал из дому. Он лежит, прислушиваясь к ночи. Слышит издалека, как шумит вода в реке, и кажется ему, будто он слышит восход юного дня.

Никогда, принимая переселенцев, Берковер не чувствовал себя так весело, как на этот раз. Когда ему позвонили со станции и сообщили о прибытии партии переселенцев, он, словно мальчишка, побежал прямо к Грину. Был уже поздний утренний час. Обычно в это время Грин носится по фермам, распределяет работу, следит, чтобы все было сделано вовремя. На этот раз он лежал дома с невыспавшимися глазами и зевал.

— Переселенцы уже на станции! — прокричал Берковер. — А ты все лежишь и зеваешь! — Ему хотелось сдержать возбуждение, но взволнованность выдавала его. Он стащил с Грина одеяло. — Вставай, скорее, надо ехать!

Грин с удивлением смотрел на Берковера, который улыбался и бестолково вертелся по комнате. «По какому случаю он так сияет? Чему он так радуется? Почему переселенцы занимают его сегодня больше, чем когда бы то ни было?..» Грин одевался медленно, будто размышляя, стоит ли это делать.

«Ему хочется, чтобы я думал, что он ради меня пригласил переселенцев». Грин вспоминает, как Берковер отзывался о На-

сте: «Она очень славная». Он улыбается про себя и думает: «Берковер прикидывается дурачком, как будто я не знаю, что он сам по ней сохнет...»

— Поторапливайся! — подгоняет Берковер.

— Ты что, собираешься меня посылать на станцию?

— Вместе поедем, — отвечает Берковер и проводит ладонью по свежесбриту лицу. — Давай скорее собирайся, а я пойду запрягать.

Он вышел и легкими шагами направился к конюшне. Грин следил за ним и улыбался при мысли, что все это выглядит так, словно они оба собирались на смотрины.

Вскоре две пары лошадей, запряженных в два глубоких воза, двинулись по недавно раскорчеванной дороге. В тихом утреннем воздухе раздавался громкий стук колес.

Берковер выехал вперед. Весело играя вожжами, он думал: «Как сейчас нужны хорошие люди, которые серьезно думают строить новую жизнь!» Ведь не так давно его колхоз называли «заезжим двором». Теперь люди прочно сидят на своей земле, и проезжих, которые появляются только затем, чтобы «понюхать», больше нет. У Берковера на душе весело. Он подстегивает лошадей. Те несутся, подняв головы. Он смотрит на них и радуется: ведь его лошади славятся сейчас по всей округе.

Хорошо! Солнце сияет. Леса, горы, реки и поля залиты ярким светом. Следом едет

Грин. Он сидит, опустив голову, будто дремлет. Берковер с досадой натягивает вожжи.

«Довела его девка! Такой был человек чудесный!» — думает он.

Возле маленькой железнодорожной станции прогуливались переселенцы. Солнце уже поднялось над горами, люди в соседней деревне давно ушли на работу, и далеко по тайге разносится веселый гул. У стены вокзала, возле своих узлов, сидит старушка. Солнце греет ее сморщенное лицо. Она немного взволнована и, то и дело перевязывая платок на голове, обращается к двум молодым, прогуливающимся по перрону:

— Чего это вы меня тут усадили? . .

А парочки, будто назло, ходят и ходят все время мимо нее. Молодые люди держатся за руки, будто боятся потерять друг друга здесь, в тайге. И, точно споря со старушкой, поминутно подбегают к ней, обнимают ее и кричат:

— Какая здесь красота, бабуся, какое солнце, какой аромат!

Пожилые переселенцы заглядывают в деревню, пытаются расспросить о жизни в этой новой стране. Быть может, крестьяне что-нибудь знают о ближнем колхозе, куда направляют переселенцев, действительно ли там так хорошо, как говорят. . .

Но вот к вокзалу подъехали Берковер и Грин, переселенцы окружили их.

— Еле вас дождались!

— С самого рассвета сидим здесь.

Берковер отвечает улыбкой и все что-то ищет глазами.

Старушка тоже поднялась и, оглядываясь на свои узлы, подошла к возам. Молодежь забегает вперед и кричит:

— Приехали!

— Сейчас поедem!

— Только лошадей покормят!

Переселенцы смотрят на Берковера и на Грина, а те в свою очередь разглядывают переселенцев. Берковер увидел двух молодых девушек, и глаза его встретились с глазами Грина...

— Это вы и есть председатель колхоза? — спрашивают девушки в один голос.

— Да, это я и есть, — отвечает Берковер с улыбкой.

— А квартиры приготовили?

— На дворе ночевать не будете.

— Семейным дадите отдельные комнаты? — спрашивает русоволосая девушка, которая держит за руку молодого парня.

— А школа? — хочет знать паренек с красным галстуком на шее.

— Есть, есть школа, все приготовлено, — отвечает Берковер, не переставая поглядывать на обеих девушек, не отходящих от своих парней.

На обратном пути переселенцы идут рядом с возами, на которые усадили ста-

рушку с ребяташками. Ребята постарше вскоре соскочили с возов и побежали к Беркову, забрасывая его вопросами:

— А речка у вас есть?

— А рыбу ловить можно?

— И лес тоже есть?

— И на охоту тоже можно ходить?

Старушка что-то шамкает губами и поправляет платок на голове:

— Усадили меня, будто бы я уж совсем без ног...

Грин шагает возле первого воза и молчит. Он держит себя так, точно вся эта история его не касается, словно он находится здесь случайно. С Берковым он старается больше не встречаться глазами. Грин слышит, как он спрашивает одну из девушек, ведущую парня за руку, не из одного ли они города.

— С одной улицы, — отвечает русоволосая, звонко смеясь.

— Даже из одного дома! — добавляет парень и получает за это от девушки по губам.

Берков смотрит на вторую пару, ушедшую вперед, словно дорога была им издавна знакома, и машет рукой.

«О чем тут еще спрашивать...»

К вечеру того же дня Берков ушел в соседний украинский колхоз. У него не было ясного представления о том, что он будет там делать. Он даже не решил, идти

ли ему к Насте, а если идти, то как начать этот странный разговор? И, когда он, входя в деревню, вдруг увидел издалика Настю, то обрадовался. Берковер, ускорив шаг, двинулся берегом реки, протекающей вдоль деревни. Впереди него шла Настя. Ее толстые русые косы были раскинуты по плечам, а с их кончиков стекали сверкающие капли. Берковер пошел еще быстрее и вдруг почувствовал досаду на Грина, на этого старого холостяка, который изъездил весь мир и теперь не может обойтись без свата: «Ну его к черту! Пусть едет в другое место невесту себе искать!» — подумал он, подходя к Насте.

— С купанья?

— Да, — ответила она, весело взглянув на него. — А ты куда, Берковер?

— К тебе, Настя.

— Так рано? Что за праздник?

— Приглашать на вечер. Приехали новые переселенцы. Приходи, Настя, потанцуешь.

— Если еще кто-нибудь пойдет, приду!

— Я иду приглашать. Все придут.

— Ну ладно. Со всеми и я приду.

— А одна боишься?

— Боюсь? Я уже большая. Не хочу, понимаешь?

— Понимаю, — сказал Берковер, улыбаясь. — У людей языки...

— Люди как люди, а Грин еще невесть чего подумает.

— В чем же дело? Разве ты его не любишь?

Настя ответила не сразу, она только искоса взглянула на Берковера, потом, усмехнувшись, бросила:

— А если люблю, так что? — и, протянув руку, холодно простилась.

К вечеру готовились все. Колхозники, словно в ожидании большого торжества, оделись по-праздничному. Лица у них довольные, улыбающиеся: семья прибавляется. Новые переселенцы расселись на скамьях и чувствовали себя гостями. Украинцы из соседнего колхоза нетерпеливо перебирали ногами и готовились при первых же звуках гармошки пуститься в пляс.

Берковер побрился, волосы его причесаны, но видно, что это стоило ему немалых усилий: на самой макушке упрямо торчит прядь волос.

Грин в темном костюме. На шее — жесткий крахмальный воротник, который, словно в обруче, держит его голову. Настя украдкой взглянула на него и улыбнулась.

— Ты выглядишь совсем как жених! — сказала она, когда он сел рядом с ней.

— А ты как невеста! — ответил Грин, надувая щеки.

Берковер издали смотрел на них. Он приглаживал непокорную прядь волос и глаз не отводил от Насти. Сколько раз он уже видел ее, но только сейчас замечает, что

она действительно хороша. Пестрое украинское платье и красные бусы так идут к ее матово-розовому лицу! Глаза у нее пепельного цвета с легкой прозеленью. Он ловит себя на том, что именно такие глаза нравятся ему... А когда Настя смеется, то смех ее звучит мягко-мягко, и так тепло от него становится на сердце, что Берковер готов часами слушать ее голос...

Грин сидит с украинцами. Ему весело. Он как-то посвежел, стал разговорчивее. Берковер замечает это, и двойственное чувство охватывает его: он доволен и не доволен. «И все-таки, — думает Берковер, — это была удачная мысль — пригласить их всех, чем бы это ни кончилось».

Но вот заиграла гармошка, и начались танцы. Берковер смотрит, как нежно Грин обнимает Настю за талию, как оба они проносятся перед ним, и отворачивается к окну... Лицо Грина сияет. Он заглядывает Насте в глаза и улыбается так, словно увидел в них зарю своей юности.



БУРЯ В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Поздней ночью Груня вышла на крыльцо, села на коня и вскоре очутилась в лесу, который начинается сразу же за крайними домами поселка. Лес стоит темный, густой и нехоженный. Взлохмаченные головы деревьев переплетаются ветвями. Сейчас, в тихую лунную ночь, здесь пахнет свежестью и влагой. Груня с наслаждением вдыхает ночной воздух. Ее стройная фигура покачивается на коне, который идет спокойным, размеренным шагом. Торопиться ей не надо. До ближайшего селения она вполне успеет. Ведь пешком Груня добралась бы до него только к вечеру следующего дня.

Она, собственно, и хотела пойти пешком, — жаль было снимать лошадь с работы. Но собрание, которое дружно подняло руки за то, чтобы Груня, как лучшая трактористка, поехала рапортовать областному съезду Советов о достижениях колхоза, в один голос потребовало: коня! Обязательно дать ей коня!

Конь — каштановой масти, высокий, стройной изогнутой шеей, натянутой, словно лук. Груня поглаживает эту теплую и мягкую, как бархат, шею и нагибает голову, проезжая под ветвями, которые касаются ее лица и путают и без того взъерошенные черные кудри.

В лесу тихо. Тишина, кажется, тянется далеко-далеко сквозь чащу леса, но конь поминутно поворачивает голову, настораживает уши, словно прислушивается к дальнему шуму, который еще не достиг слуха Груни, и вздрагивает. Груня ласково треплет коня по шее и прижимает ноги к его трепетным бокам. Конь легко приподнимается и уносится вперед по едва заметной, почти не проторенной тропе. Груня чувствует легкое возбуждение. Хорошо все же, что она взяла коня! Приятно ночью ехать по лесу верхом. «В рапорте, — думает она, — непременно надо будет упомянуть конюха Мотеля, который все свои силы отдает конеферме». Рапорт лежит у нее в верхнем кармашке кофточки. Там записано все, о чем она должна сказать, а вот о Мотеле почему-то забыли. Нет, она

обязательно должна о нем вспомнить! Вот он стоит у нее перед глазами, улыбается и предупреждает:

— Смотри, Груня, коня в лесу побереги! За каждую царапину на его коже будешь в ответе.

Она улыбается и гладит бархатистую шею коня. Чем дальше в лес, тем тише ночь, тем ощутительнее тьма.

Конь все чаще настораживает уши и замедляет шаг. Груня поднимает голову и смотрит вверх. Небо, видит она, хмурится, луна кутается в серые полотнища, ветерок подувает. В лесу становится прохладнее. Деревья раскачиваются, шумят. Сквозь листву пробивается отсвет далекой молнии, потом доносятся раскаты грома.

Груня погоняет коня, но тот поворачивает голову и осторожно переставляет ноги, словно шагает по краю пропасти. Молния, пронизав кроны деревьев, слепит глаза, потом в лесу становится еще темнее. Деревья раскачиваются все сильнее и сильнее, молнии сверкают все ярче и ослепительнее, ветер крепчает и воет меж деревьев. Проносится вихрь. Молнии зажигают верхушки лесных великанов.

Конь останавливается, пятится. Снова вспыхивает молния. Грохот обрушивается на деревья, и с присвистом падает на землю ливень. Пламя смешивается с потоками воды. Ветви трещат и ломаются, деревья клонятся до самой земли, завывающий ветер преграждает дорогу.

Груня соскакивает с коня, берет его за уздечку и отводит в укрытое место к двум широко разветвленным деревьям. Дождь хлещет по голове. Груня уже промокла насквозь. Она гладит коня и усаживается у него под животом. Хватается за кармашек, достает размокшие клочки бумаги, которые расползаются меж пальцев. «Доклад!» — вспоминает она и бледнеет.

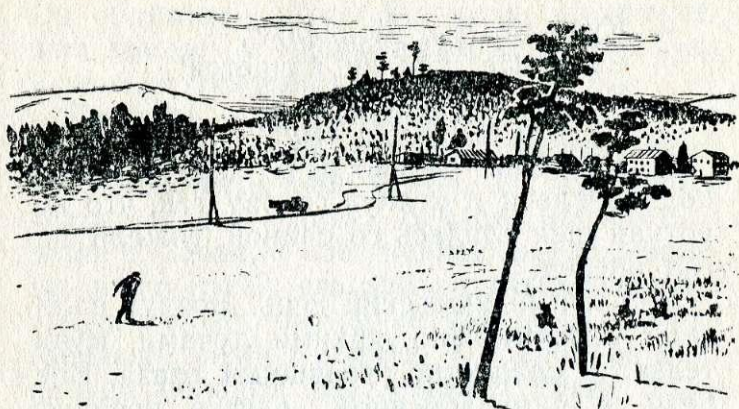
А лес все так же шумит. Конь нервно топчется на месте. Груня мнет в руках размокшую бумагу.

...Когда она вышла из лесу, было уже светло. Солнце сияло и согревало мокрую землю. В воздухе — нежный запах новорожденного дня.

Она будет рапортовать, думает Груня, без цифр. Расскажет о людях, которые пришли в тайгу и сначала ее боялись, а теперь вот собственными руками одолевают ее дикость...

— Эх, коник, закачу же я им рапорт! — произносит она вдруг во весь голос.

И, весело хлестнув коня, пускается галопом по ярко освещенной дороге.



КУСОК ЗОЛОТА

1

После полудня, когда солнце крепко пригревало спины золотоискателей, Мендель почувствовал, что ему «не по себе», и отпросился домой.

— Голова, — сказал он бригадиру, указывая на сдвинутую шапку... В тяжелых, облепленных грязью резиновых сапогах он вылез из котлована и неверным шагом побрел по направлению к поселку. Люди, работавшие на приисках, поднимали головы и с удивлением смотрели на удалявшегося Менделя:

— Что случилось, Мендель?

- Куда это ты, Мендель?
- Смотрите, как он качается!
- Выпил, наверное...
- Да что вы! Куда ему!...

А Мендель, словно речь шла не о нем, подняв плечи и втянув голову так, что короткая шея слилась со спиной, тяжело шагнул вперед.

Был ясный июльский день. Воздух заливало ослепительно яркими лучами, мучительно и сладостно резавшими глаза. Впереди в самозабвенной пляске носились мошки, отливавшие всеми цветами радуги. Мендель щурил глаза, морщил усеянное веснушками широкое лицо, шмыгал носом и глубоко вздыхал, будто собираясь чихнуть. Под мышкой у него жгло. Он поминутно ощупывал это место пальцами и что-то там поправлял, перекладывал. Лицо у него при этом бледнело, словно он пальцами касался открытой раны.

Солнце щедро рассыпало лучи, и стекла в окнах отливали золотом.

Детишки играли возле домов. Их веселые голоса доносились до слуха Менделя. Он остановился, огляделся по сторонам, потом сунул руку под мышку и начал осторожно, по-воровски, переставлять ноги. Хотелось, чтобы сейчас его никто не видел, чтобы даже тень его не заметили. И Мендель стал обходить поселок со стороны поля, минуя дорогу, ведущую к домам.

В кустах, оставшихся кое-где от раскорчеванной тайги, он присел перевести дух.

Он обливался потом. По лицу текли грязные капли, Мендель вытирал их рукавом и тяжело отдувался.

До ночи еще далеко. Если бы сейчас вдруг стемнело, он прокрался бы узенькими проулочками к себе в дом. Он страшился человеческого глаза, боялся встретиться даже с Сарой, с собственной женой, а больше всего пугал его двенадцатилетний сын Левка. «Хоть бы он не увидал!» — думал Мендель, лежа в кустах. С Сарой он как-нибудь поладит. Она, может быть, даже обрадуется и скажет: «Ты умница, Мендель!» Он озирается, прислушивается — кругом тихо. Мендель достает из-под руки кусок глинистой массы, повертывает его в руках, обтирает широкой ладонью и откусывает часть своими крупными желтыми зубами. В глинистой массе виднеется красноватый след, будто кровь проступила. «Золото! — думает Мендель. — Настоящее золото!» Но, испугавшись, снова сует его под мышку и оглядывается. Ему кажется, что со всех сторон на него устремлены глаза — огненные, сверкающие, колющие. В страхе он поднимается и начинает быстро шагать. Останавливается. Возникает мысль: «А может быть, отнести начальнику?» Но мысль эта тут же гаснет, и он направляется к своему дому.

Расстроенный, точно подгоняемый кем-то, Мендель вошел в дом. Увидев его, Сара испугалась. Она отпрянула в страхе, когда он сунул что-то под кровать. И если бы

Мендель не приставил пальца к губам, она приставила бы палец ко лбу: «Рехнулся?» Сара молча смотрела на его измазанное, встревоженное лицо и отступила перед странным, каким-то чужим блеском его глаз.

— Где Левка? — спросил он, окидывая взглядом комнату.

— Где-то на улице, — ответила Сара, не отводя глаз от мужа.

И хотя в доме никого больше не было, Мендель тихо, шепотом, сказал жене на ухо, указывая глазами на место под кроватью:

— Нашел.

— Что?

— Кусок золота.

— Кусок золота? Настоящего золота?

— Золото. Чистое золото!

— Горе мне, Мендель! — Сара заломила руки и уставилась на него с удивлением и недоверием.

— Почему же горе, Сара? О чем ты горюешь?

— Кусок золота? Нашел? И взял домой?

— Нашел и взял домой.

— Наживешь себе беды, Мендель. Боюсь я, горе мне...

Мендель скользнул глазами по ее лицу.

— Не шуми, женщина, это целое состояние!

— Состояние? — не переставала удивляться Сара. — Я боюсь держать это в

доме. Я не хочу. Отнеси. Как можно нам, Мендель...

Мендель стремительно шагал по комнате, в нем все кипело:

— Видали богачку? Х-ха! Швыряется! Как будто это бог знает что, а не чистое золото!

— Но ведь это же позор, Мендель! Подумай! Ведь кто-нибудь из бригады мог заметить. Бог знает, что будет, когда до начальства дойдет.

— Если ты болтать не будешь, — не дойдет. Никто не видал. И, пожалуйста, не шуми!

На этот мирный дом, который, подобно стволу с ветвистыми корнями, прочно стоял на земле, в этот вечер надвинулась темная туча.

Мендель смыл с себя глину, переоделся, сел за стол и взял в руки газету, но читать не мог. Монотонно стучал он пальцем по бумаге и тихо что-то мычал про себя... Сара места себе не находила. Несколько раз она выбегала на улицу и озиралась по сторонам. Ей казалось, что со всех сторон идут к ее дому. Придут, начнут искать и найдут этот проклятый кусок золота. А что будет дальше, она и представить себе не может... Весь поселок сбежится... Ох, позор какой! Лицо у нее пылает, темные глаза наполняются слезами. Она то и дело перевязывает платок на голове, всхлипывает, потом входит в дом. Мендель все еще сидит за столом, барабанит пальцем по га-

зете и что-то напевает. Сара, сделав над собою усилие, подходит к столу. Стоит с минуту, опустив голову, потом кладет руку мужу на плечо.

— Мендель, Мендель!

Мендель приподымает бровь и смотрит на нее.

— Что такое?

— Мендель, а вдруг придут, найдут... Ведь нас перед всем миром на позор выставят...

Мендель машет рукой:

— Кто придет? Никто не придет. Надо только положить в надежное место.

Он встает, подходит к кровати, ложится на пол и хочет достать из-под кровати кусок золота, но вдруг доносится крик, свист, лай собаки... Кто-то вскакивает на ступеньки крылечка...

Сара, ни жива ни мертва, кричит:

— Мендель, идут!

И не успевает Мендель высунуть голову из-под кровати, как в дом влетает Левка со своей собакой Шариком.

— Фу ты, провалились вы к черту! — сплюнула в сердцах Сара.

Мендель, обозленный напрасным испугом, вскакивает, хватается палку и хочет выместить свой гнев на собаке, но она, прижимаясь к стенам, прячется под кровать. Левка зовет собаку, чтобы вывести ее из комнаты, но та напугана и не отзывается. Тогда он наклоняется, чтобы вытащить Шарика, но отец хватается его за ногу.

— С собаками возишься! — кричит он. — Сходил бы лучше в клуб, там сегодня кино показывают!

Левка смотрит на отца, на мать и ничего не понимает. Но долго думать не приходится. Он подлетает к двери, распахивает ее, свистит, собака выскакивает следом за ним, и оба исчезают.

— Вот кого остерегаться надо! — произносит Мендель и запирает дверь...

2

Сара никак не могла освободиться от тягостной заботы, которую Мендель так неожиданно принес в дом. Она ничего не могла делать. Все время стояла и смотрела в окно. Вечер был такой же тихий и теплый, как и вчера, а ей все казалось, что воздух сперт, что душно. И еще казалось ей, что сейчас затянет небо тяжелыми тучами и грянет страшная буря.

— Завесь-ка лучше окна, — сказал Мендель, — нечего смотреть! Никто о тебе и не думает.

Он стал спокойнее, Мендель. Какое-то озорное веселье напало на него. Он налил в миску воды, поставил ее посреди комнаты, и когда Сара завесила окна темными одеялами, вытащил из-под кровати свой кусок золота и стал его обмывать.

— Ничего хорошего из этого не выйдет! — сказала Сара, тяжело вздохнув.

Он несколько раз меняет воду, трет,

чистит, обтирает золото руками, тряпками и, наконец, чистым полотенцем. А когда кусок засверкал, он поднял его над головой и держал в руках словно осколок солнца. Сара подошла к окнам, чуть приподняла одеяло и посмотрела. Вокруг дома тихо. Доносится только шум мониторов и горят электрические лампочки на россыпях. Мендель облизывается, веснушки на лице сияют, серые глаза блестят, а ноздри большого мясистого носа расширились и дрожат.

— Вот, Сара, посмотри — какой кусок!

— Я такого никогда еще не видела! — признается жена и осматривает золото со всех сторон.

— Вот видишь, — с гордостью говорит Мендель и протягивает руку. — Это состояние! Богатство! Ай-ай-ай, — произносит он, почесывая голову, — если бы мой отец имел такой кусочек золота лет пятнадцать тому назад, он жил бы в самом центре города, в самом красивом каменном доме, матери приносили бы в дом самые жирные куски мяса, отца называли бы не Лейзер-погонщик, а богач реб Лейзер, а меня звали бы Менделе — сын богача Лейзера... — Он делает несколько стремительных шагов по комнате и выкрикивает: — Разве богачи у нас были? Оборванцы! Шушера! Ни у одного из них не было такого куска золота, черт бы их батьку с прабабкой взял!

Сара быстро подходит к окну.

— Тише ты, спятил! Обмыл золото, налюбовался и отнеси сейчас же начальнику!

Каменного дома нам, слава богу, не надо. При советской власти можно всего добиться честным путем. Да и чего нам не хватает? Дай бог и дальше так жить!

Мендель прищуривает глаз, почесывает голову и спрашивает:

— Начальнику, говоришь, отнести? А может быть, сразу и фотографию свою дать, чтоб в газетах напечатали?

— А что же ты думаешь? — говорит Сара. — О тебе и в газетах напишут. Послушай меня, Мендель, отнеси!

Мендель улыбнулся.

— А может быть, наоборот? Подумай, Сара: ведь ни одна душа ничего не знает... Поселимся в Москве и по кусочкам, по крошкам будем продавать это золото. Кусочек — тысяча, крошка — пять сотен... Меньше чем на сто рублей и не отковырнешь! Как ты думаешь, Сара? — Он поглаживает золото обеими руками, словно гладит головку младенца. — И будем жить, как баре, а?

Сара задумалась. Она и поверить не могла, что это говорит ее Мендель, откуда у него такие речи? Ведь это же просто смешно! Он всегда говорил толково, к делу.

— Мендель, — пытается она его отрезвить, — ведь это же сумасшествие! Что наши дети скажут? «Откуда, — спросят они, — ты, отец, так разбогател?» Ведь нынешним детям зубы не заговоришь! Наша Геня, не забудь, врач, комсомолка, она гордится своим отцом, рабочим. И Миша,

Он ведь инженер, орденоносец. Если ты перестанешь работать и начнешь отковыривать кусочки золота, они и в дом к нам не заглянут, имени твоего слышать не захотят, отрекутся от нас с тобой, слышишь, Мендель? А младший, Левка, думаешь, станет жить с нами? Убежит куда глаза глядят! Вот тебе и вся семья! А все из-за чего? Из-за куска золота... Зачем мне это нужно? Не хочу! Выбей эту дурь из головы!

— Дурь, говоришь? — спрашивает Мендель и прячет слиток под подушку.

— Дурь, сумасшествие! — отвечает Сара. — Не дай бог, какую беду еще себе наживешь! Ведь это же человека с ума свести может!

— С ума свести, говоришь? — снова спрашивает Мендель и пристально смотрит на жену.

— Да, да! С ума... — кивает головой Сара. — А мой дед разве не рехнулся из-за золота?

— Из-за золота? Рехнулся?

— Не из-за настоящего золота, из-за наваждения...

— Басни!

— Нет, не басни! Никакому честному дому не пожелаю того, что с моим дедом случилось.

— Сошел с ума?

— Сошел с ума и умер, — ответила Сара, опустив голову.

В доме было темно. Левка обычно засыпает очень быстро, но сейчас он лежит с широко раскрытыми глазами и, наострив уши и затаив дыхание, слушает историю о дедушке.

— Нам это рассказывала мама, — говорит Сара, — когда я еще маленькой была. Это действительно случилось с отцом моей матери, Хаим-Лейбом.

Дед мой был коробейником и штопальщиком. Он ходил из деревни в деревню, продавал катушки ниток, пуговицы, иголки и чинил сермяги, полушубки и всякие другие рваные вещи. Уйдет, бывало, в воскресенье с мешком за плечами и возвращается в пятницу. Принесет немного муки, горсть крупы, яичко, а иной раз и несколько грошей деньгами. Так и жили дед мой и бабушка со своими дочерьми, старыми девами. Нищета была страшная, домишко по самые окна ушел в землю, а крышей упирался в кладбищенскую стену.

И вот однажды дед, как всегда, встал в воскресенье пораньше, помолился, взял мешок на плечо и пошел по деревням. Идет из деревни в деревню, из дома в дом, от порога к порогу, а никто ничего не покупает и латать никому ничего не требуется. Год тогда был засушливый, хлеба не родилось. Соседи-крестьяне и друзья кое-чем поддерживали, а заработать не на чем было. И вот прошло воскресенье, миновали

И понедельник и вторник, а дед еще мешка своего и не развязывал и иголки из лацкана не вытаскивал. Идет он дальше и дальше, уже и пятница подошла, а в кармане ни гроша, в мешке ни мучицы, ни крупы — ничего! С чем ушел в воскресенье, с тем и возвращается в пятницу. А дома бабушка ждет, дочери ждут, надо субботу справлять. Всегда дед, бывало, приходит к полудню, а тут уже и полдень миновал... Дороги дождем размыло, ходить по ним стало трудно. Дед еле ноги волочит, ведь всю неделю недоедал. Сил нет. Поднимает он глаза к небу, а небо хмурое, дождик накрапывает. Дед, старенький, слабый, тащится с мешком за плечами, останавливается и молит бога: «Господи, — говорит он, — помоги бедному человеку, подкинь находку честную, клад... Ведь помогаешь ты иной раз людям!» Дальше пошел. Торопится. А сердце так сжимается от боли, что слезы из глаз текут. И вдруг что-то блеснуло у него перед глазами. Дед остановился, протер рукавом глаза, но ничего не увидел и пошел дальше. Идет, идет, а перед глазами опять сверкнуло, словно пламя, но это не огонь, а что-то круглое катится по земле, покажется и скроется. Дед идет быстро, из сил выбивается. А тут уже темнеет. Издалека виднеются первые огоньки в окошках, и дед бежит, а впереди огненный шар катится... Но только дед протянет к нему руку, шар

исчезает, словно в землю проваливается. А потом снова покажется. Тут дед понял, что это — чудо небесное, что наконец бог над ним смилостивился и ниспослал ему клад. А уж о кладах дедушка наслушался немало историй. Он весело пошел дальше и даже не шел, а бежал приплясывая, летел. Так добрался он до своего дома. Наступила ночь, во всех окнах сияли праздничные свечи, и только в дедовой землянке было темно.

«Сейчас станет светло! — весело подумал дед. — Сейчас увижу зал, богато накрытый стол, а на нем — драгоценные вина, жирное мясо, лучшая рыба». Бабушке он достанет жемчуга, бриллиантовые серьги, дочерям — шелка и бархат. Он войдет, весело поздравит всех с наступающей субботой, наденет шелковый кафтан и сядет на почетное место... И вдруг что-то сверкнуло, у деда посветлело в глазах, золотой шар поднялся, подскочил — и зарылся в землю возле кладбищенской стены. Дед протянул руку, привалился к забору, хотел поднять шар... Так его потом и нашли лежащим без сознания у кладбищенской стены.

Сара тяжело вздохнула и искоса посмотрела на Менделя. В темноте она могла лишь различить его неподвижное лицо. Он лежал так тихо, что Сара даже не слышала его дыхания. Левка, который все время лежал, облокотившись на подушку,

задумался. Широко раскрытые глаза его блеснули в темноте. Он пылал от возбуждения и желания услышать еще что-нибудь необыкновенное. Он приподнялся на кровати, но вдруг услышал голос отца:

— А что было дальше?

— Лютому врагу не пожелаю! — ответила Сара.

Долго было тихо. Слышался только веселый шум мониторов, да еще откуда-то издалека доносилась грустная песня влюбленных, не нарушавшая ночной тишины, а сливавшаяся с нею.

— С тех пор дедушка перестал ходить по деревням, — вздохнув, сказала Сара. — День и ночь стоит, бывало, у кладбищенской стены и роет землю. Он раскапывал все больше и больше, а сам день ото дня таял, зарос волосами, ходил оборванный, истрепанный... Бабушка от горя умерла, дочери поседели, а дедушка бегал по улицам с горящими глазами и кричал: «Погодите, люди, вот я отыщу клад, и всем тогда станет хорошо...» Наконец его схватили, заперли в сумасшедшем доме, там он и умер...

По пухлым щекам Левки тихо текли слезы. А когда он уснул, ему приснился дед. Он плыл в облаках, распустив бороду, вытянув руки вперед. В одной из них был мешок, в другой — палка. А впереди летело множество кур с золотыми перьями, и все они клали золотые яйца в мешок деда.

Какие-то странные слова долетали до ушей Левки и рвали путанные нити его беспокойного сна. Несколько раз он раскрывал глаза, напряженно смотрел в темноту и снова тяжело засыпал. И тогда ему казалось, что кто-то стоит наклонившись над ним и втолковывает ему что-то непонятное. А на рассвете, случайно раскрыв глаза, он увидел из-под одеяла, как мать стоит склонившись над отцом и горячо убеждает его:

— Не смей этого делать, Мендель! Слышишь? Ты нас погубить хочешь, детей хочешь от себя оттолкнуть...

Левка протер глаза и лежал, затаив дыхание. Он насторожился: «Что это мама говорит? Новую историю рассказывает или это конец вчерашней, которую он не успел дослушать?» И вдруг он слышит, как отец отвечает в сердцах:

— Чудачка! — говорит он. — Дай одуматься, погоди день-другой. Я подумаю... Как это можно под горячую руку! Всю жизнь об этом мечтали — и отец и дед... Погоди... Может быть, ты и сама передумаешь, придешь и скажешь: «Ты прав, Мендель. Не надо отдавать этот кусок золота».

Левка улавливает последние слова и никак понять не может, что это должно означать... Если мать рассказывает сказку, то зачем отец вмешивается?.. Он лежит с полузакрытыми глазами и сквозь ресницы

видит, как мать поворачивается к нему и смотрит, спит ли он. Потом она снова склоняется к отцу и тихим, но строгим голосом говорит:

— Слушай, Мендель! Возьми это золото и отнеси начальнику! Сделай так, чтобы никто не знал, что оно было у тебя дома. Сам знаешь, какие у людей языки, мало ли что могут сказать. А если не отнесешь, клянусь тебе, сама пойду и расскажу! — Последние слова она произнесла единым духом. Потом перевязала платок на голове и вышла из дому.

«Кусок золота? — думал Левка. — Что за кусок золота?»

Сквозь тонкую ткань одеяла процеживался голубой свет. Левка видит, как отец поднялся, спустил ноги на пол, широко зевнул и начал неохотно натягивать сапоги. Сквозь узенькие щелочки прищуренных глаз Левка следит за каждым его движением. «Отец принес золото домой? — спрашивает он сам у себя. — Откуда? — Украд?!» Он видит, как отец озирается по сторонам, потом приближается к его койке и прислушивается, спит ли он, потом возвращается к своей кровати, поднимает подушку и стоит долго-долго, не разгибая спины. Левка приоткрывает глаза, смотрит на согнутую спину отца и думает: «Там оно спрятано, уворованное... Отец, его отец, украл государственное добро, утащил кусок золота!» Эта мысль обжигает. Вот

он сейчас подымет, подойдет к нему, да так прямо и скажет ему в глаза: «Вор!» Но тут комок подкатывает к горлу, и слезы начинают душить мальчика. Мендель все еще стоит над куском золота, но вдруг приподымает матрац, засовывает туда сверток и отходит от кровати. Потом он снимает со стены полотенце, закидывает его на плечо и выходит умыться.

Левка, словно под ним загорелась кровать, соскакивает на пол, подбегает к отцовской постели, откидывает в сторону подушки, обеими руками приподымает тяжелый матрац, но не успевает ничего разглядеть, так как в ту же минуту раскрывается дверь, и Мендель входит в комнату. Секунду стоят они, глядя друг на друга, потом Мендель налетает на него с криком:

— Чего искал?

— Ничего.

— Говори что? Что видел?

— Ничего, папа.

— Искал чего-то, паршивец! Видел?! Говори!

Мендель хватается за голову. Испуганный Левка подхватывает свои короткие штанишки и удирает на улицу.

Расстроенный, Мендель носился по дому. Ругал себя, называл сумасшедшим. Не знал, что делать. Потом схватил подушку, швырнул ее на пол, подбежал к окошку, сорвал закрывавшее его одеяло, вышел на улицу

и стал изо всех сил кричать: «Левка! Левка!» Левка не отзывался. Мендель обошел вокруг дома, но мальчика нигде не было. Он кинулся в дом и остановился посреди комнаты. Лицо его словно окаменело, рыжие ресницы прикрыли глаза.

— А? Что же это творится? — говорил он. — Что случилось... Ребенок... Левка! — крикнул он и опустился на стул.

Мендель вдруг почувствовал, что лицо его пылает от стыда. Стыдно было глаза поднять, стыдно было смотреть на стены, на кровать, где только что лежал Левка.

И так, не подымая глаз, Мендель подошел к своей кровати, взял кусок золота, завернул его в чистое полотенце и поспешно вышел из дому.

Долго еще после этого только и говорили, что о Менделе и его находке. Рассказывали и пересказывали о том, как странно выглядел Мендель, когда он рано утром вошел к начальнику россыпей и отдал ему самородок. Рассказывали, что начальник вызвал двух уполномоченных, которые заперлись с Менделем в отдельной комнате и долго о чем-то с ним беседовали. Потом видели Менделя, вышедшего из этой комнаты, смущенного и очень веселого. Однако он после этого несколько дней подряд молчал, ни с кем ни словом не перекинулся и избегал людей, стыдливо отворачивался, когда с ним заговаривали.

Говорили о нем очень много. Одни утверждали:

— Он попросту хотел украсть.

Другие возражали:

— Что-то не верится, не похож Мендель на вора.

А кое-кто говорил:

— Ему просто хотелось полюбоваться такой штукой.

А когда Мендель прочел в газете заметку о золотоискателе Менделе Шварце, который нашел золотой самородок, то сказал, глядя на свой портрет, красовавшийся в центре заметки:

— А если кто думает, что этот кусок золота я хотел украсть, то он большой дурак!



ЗАТЕЯ НЕМЦА

Утром комендант «Фрайлебена» приказал доставить к нему обоих евреев — извозчика Лейзер-Вольфа и портного Шлойме-Довида. Комендант, фельдфебель Кляйн-копф, сидел за столом и завтракал. Он был в хорошем настроении и поэтому жевал с особым удовольствием. Утро было прекрасное, и фельдфебель считал, что солнце, которое сегодня светит ярче обычного и греет сильнее, чем всегда, очевидно, имеет в виду только его особу, а об этих двух евреях, которые изнывают от голода, он вспомнил как раз в ту минуту, когда денщик подал к столу кусок жареной свинины с картофе-

лем. Радостная улыбка расплылась по лицу коменданта, а глаза засияли от удовольствия.

— Бурте, сколько времени может жить еврей не евши? — задал он вопрос своему денщику.

— Это зависит от вас, господин фельдфебель! — ответил солдат коротко и не раздумывая.

Фельдфебелю весьма понравился такой ответ, и, предвкушая удовольствие от своей затеи, он приказал привести обоих евреев.

Арестованные сидели в ветхом сарайчике, стоявшем возле дома комендатуры. Стража, охранявшая комендатуру, время от времени заглядывала сквозь щель в дверях и следила за тем, чтобы оба еврея спокойно умерли от голода и чтобы никто им не мешал и не помогал. Утром солдат видел: арестованные сидят друг против друга на земле, осматривают пару рваных сапог и о чем-то шепчутся, постукивая костлявыми пальцами по стертým подошвам.

«Наверно, перед смертью торгуют старыми сапогами!» — подумал караульный и зашагал дальше: надо было смотреть, чтобы с комендантом, упаси боже, не случилось ничего худого.

Но Лейзер-Вольф так же не думал продавать свои сапоги, как не думал и умирать. Все утро он старался убедить Шлойме-Довида в том, что сапоги ему еще пригодятся и что он должен их беречь. Шлойме-Довид смотрел на него сухими

глазами, и седая его бородка дрожала: мне, мол, все равно как умирать — с сапогами или без сапог. Наши братья или забыли о нас, или всех их перебили в лесу. Сами же мы отсюда не выберемся, да и сил нет бороться с немцем.

Лейзер-Вольф не переносил разговоров о смерти. Он упрасивал:

— Не пугай меня могилой, Шлойме-Довид! Хворать бы ему, немцу, до тех пор, пока он меня увидитдохлым! Не так-то просто меня измором взять! Моему деду было девяносто лет, когда он женился на молоденькой!

На пересохших губах Шлойме-Довида появляется улыбка, от которой у Лейзер-Вольфа сердце сжимается: не улыбка это, а гримаса.

— Что ты в силах сделать, когда полмира у Гитлера в плену? — спрашивает Шлойме-Довид и печально качает головой.

Лейзер-Вольф задумывается на минуту, закусывает кончик рыжего уса и говорит с уверенностью:

— А вторая половина мира Гитлера задушит. Увидишь, Шлойме-Довид, мы еще торжествовать будем на могиле наших врагов!

Шлойме-Довид тяжело вздохнул, опустил голову.

В это время отворилась дверь и солдат прокричал:

— Juden, heraus! ¹

Лейзер-Вольф побледнел. Он еле поднялся с места. Шлойме-Довид встал, словно давно уже ждал минуты, когда его позовут умирать, и тихим голосом стал читать молитву.

На дворе светило яркое солнце. Пахло весной. Лейзер-Вольф глотнул свежего воздуха и выпрямился. Подгоняемый солдатом, он шагнул вперед. Позади шел Шлойме-Довид.

Когда их ввели к коменданту, у обоих мелькнула одна и та же мысль: «Сейчас снова начнется мучение...» Однажды их уже били, топтали ногами, жгли раскаленным железом: фельдфебель хотел знать, где прячутся партизаны. И зачем только они, портной и извозчик, остались, когда все еврейское население ушло отсюда?

Но, судя по всему, эти люди решили скорее умереть, чем сказать хоть слово.

— Проклятая раса! — вскипел фельдфебель и приказал посадить их в сарай и морить голодом.

Фельдфебель Кляйнкopf в особенно хорошем настроении: ведь сегодня он празднует день своего рождения. Ему исполняется двадцать восемь лет! Такое событие, считает фельдфебель, должно отмечать все человечество. Он поднимает стакан с вином:

¹ Евреи, выходите! (нем.)

— Знаете ли вы, иудеи, какой сегодня день?

Проходит довольно много времени, пока арестованные начинают понимать, о чем их спрашивают. Шлойме-Довид морщит лоб, прикрывает глаза. Нет, они никак понять не могут, чем, собственно, примечателен этот день!

— Да будет же вам известно, сыны богом проклятой расы, что сегодня день моего рождения. Поэтому вы должны плясать и радоваться! Поняли?

Лейзер-Вольф смотрит на фельдфебеля — в своем ли тот уме? Почему это он должен плясать? Нет, Лейзер-Вольф не представляет, как это он, пятидесятилетний извозчик, высокий и широкоплечий, вдруг станет плясать перед фашистом!

А Шлойме-Довид очень хорошо понял, чего хочет от него комендант. Он подымает глаза, чтобы взглянуть в лицо немца, но долго смотреть в одну точку не может, у него начинает кружиться голова. Это, наверное, от слабости. Ноги дрожат и тянут вниз. Прилечь бы!

Но комендант кричит:

— Пейте вино! Налить два стакана вина для этих мерзавцев! Пейте за мое здоровье, собаки! Хайль фюрер!

— Нет, — покачал головой Шлойме-Довид и сказал едва слышно: — Я вина не пью и плясать не буду.

Немец оставил свинину, всмотрелся в

посиневшее лицо Шлойме-Довида и весело переспросил:

— Не хочешь пить? И плясать не будешь? Ха-ха, проклятый иудей! Будешь плясать, как медведь, лаять будешь, как собака, петухом кричать будешь! Ха-ха-ха! А ты? — обратился он к Лейзер-Вольфу. — Тоже не желаешь плясать?

Лейзер-Вольф не отвечал. Он все время смотрел на немца, оценивая свои силы и силы фельдфебеля, а когда взгляд его задержался на горле коменданта, глаза его налились кровью, сердце начало биться сильнее, твердые пальцы вытянулись и тут же сжались в кулак. В эту минуту фельдфебель расстегнул кобуру. Солдат, стоявший рядом с арестованными, щелкнул каблуками. Лейзер-Вольф отвел взгляд и прохрипел:

— За здоровье бандитов не пью и счастья фашистам не желаю!

— До смерти, — приказал комендант, — их не избивать! Умирать им слишком рано, пускай еще собственной крови напьются.

Под вечер солнце заглянуло к арестантам. Каждый день перед закатом сюда закрадывается полоска света, и арестованные знают, что день уходит и наступает ночь, ночь размышлений и ожидания: а вдруг она что-нибудь принесет, кто-нибудь придет с приветом из лесу. Шлойме-Довид, правда, перестал уже ждать помощи, на

свои силы ему рассчитывать не приходится, — он лежит и тихо стонет. Сегодня ему показалось, что ночь наступила давно. Он попытался открыть глаза, но не смог. Шлойме-Довид пробует раскрыть их пальцами, но чувствует сильную боль. Колет, как иголками.

Лейзер-Вольф давно уже смотрит на окровавленное лицо Шлойме-Довида. Ему не верится, что старик мог выдержать такие побои. Он смотрит на седую голову Шлойме-Довида, на бороду, покрытую кровью, и радуется, что старик жив. Лейзер-Вольф сказал бы ему доброе слово, чтоб приободрить, но он говорить не может. Его изрезанный язык распух, он не в состоянии даже пошевелинуть им. Рот полон крови, которая душит его. Лейзер-Вольф пытается что-то сказать, но издает лишь мычание.

— Что с тобой, Лейзер-Вольф? — поворачивает к нему голову старик. — Крепись, не поддавайся, Лейзер! — Он протягивает руку, шарит ею в воздухе, нащупывает руку Лейзер-Вольфа и кладет голову к нему на плечо.

Прохладная майская ночь.

Комендант «Фрайлебена» спит. Селение словно вымерло. Лейзер-Вольф лежит растянувшись, лицом к земле, и прислушивается к шагам караульного: они то приближаются, то удаляются. Когда солдат удаляется от сарая, Лейзер-Вольф подползает к двери и глотает прохладный

ночной воздух. Ему до смерти хочется пить, в глотке сохнет, тошнит от запаха крови во рту. Один глоток воды, и он снова стал бы говорить. Но кто даст ему воды? Правда, ему хотели дать вина. Сам комендант угощал его, Лейзер-Вольфа, вином, чтобы он плясал перед ним. Вот ведь чего захотел!

Гнев пылает в груди Лейзер-Вольфа, его лицо горит огнем, а израненные руки напрягаются, словно готовясь ломать железо. Вот здесь, по соседству с ним, спит пьяный немец. Он, наверное, сладко спит. Лейзер-Вольф представляет себе, как в большой комнате комендатуры, на кровати, что стоит у стены, отделяющей комнату от кухни, спит фельдфебель. В кухне храпит денщик. По улице расхаживает солдат. Жаль, что Шлойме-Довид сейчас ничем не может ему помочь.

Шлойме-Довид не спит. Он лежит скрючившись и тихо стонет. Лейзер-Вольф придвигается к нему и пытается заговорить. Шлойме-Довид слушает его глухое бормотание, но ничего не понимает, а Лейзер-Вольф, едва ворочая языком, горячо дышит ему в ухо:

— Пойду... Мстить... Горит... Вот здесь... — Колотит он себя кулаком в грудь. — Задушить немца... Иду...

Больше говорить он не может, прикладывает руку ко рту, морщится от боли. Отползает к двери, лежит и, затаив дыхание, прислушивается. Караульный прибли-

жается, он шагает тяжело и твердо. Шаги нарушают тишину и волнуют Лейзер-Вольфа. Он старается не дышать и ждет, пока шаги удалятся. А когда они затихают, Лейзер-Вольф осматривает дверь. Она держится на замке и двух петлях. Если ее поднять вот так, она повисла бы на одном замке. Он проделывает это быстро и бесшумно. Шлойме-Довид едва слышит, что делает Лейзер-Вольф, но чувствует, что сейчас что-то произойдет, и шепчет про себя: «Пусть силы твои удесятерятся! Отомсти за всех нас, за наше горе! Прости меня, я слаб и потерял зрение...» Лейзер-Вольф не слышит этих слов. Он сторожит. Вот он слышит шаги: приближается его жертва. Сейчас солдат остановится здесь, возле него. Лейзер-Вольф держит дверь за внутренний поперечный брус. Держит крепко, чтобы не качнулась. Держит пальцами, держит зубами... А когда солдат приближается и прикладывает лицо к двери, он вдруг тянет ее на себя...

Два человека, сцепившись, повалились на землю, сжимают, душат друг друга... Шлойме-Довид подполз к двери, шарит руками, ищет, желая помочь...

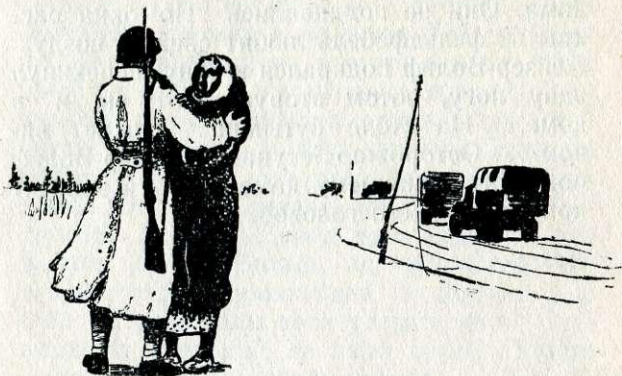
— Где ты, Лейзер-Вольф? Дай ему, бей, колоти, в живых не оставляй!.. — Он искал камень, обрубок... Но Лейзер-Вольф уже поднялся, сплюнул:

— Лежи, падаль!

С винтовкой в руках Лейзер-Вольф прошел по двору, попытался открыть двери

дома. Они не поддавались. Но окна раскрыты: фельдфебель любит свежий воздух. Лейзер-Вольф подкрался к окну, перекинул одну ногу, потом вторую. Вот он и в доме... На столе бутылки... Пахнет вином... Осторожно ступая, Лейзер-Вольф подходит к спящему коменданту и заносит приклад над его головой...

1943 г.



СЛОВО МАТЕРИ

Хана всю ночь не спала. С нетерпением ждала она наступления дня, и когда серый утренний свет заглянул в осколок оконного стекла, она поднялась с досок, служивших ей на старости лет ложем, взяла приготовленный с вечера узелок и направилась к двери. По дороге она оглянулась на холодные стены, и подбородок ее задрожал. . . Из всей семьи в живых осталась лишь она одна: фашисты убили ее старого, больного мужа, на глазах у нее изнасиловали двадцатилетнюю дочь и потом куда-то ее увели, — куда, Хана не знает до сих пор. Старшую дочь с двумя маленькими детьми

изверги заперли в ее же, дочери, доме, а дом подожгли... Не иначе, как гитлеровцы придумали для нее самую страшную казнь — оставили ее жить... Хана переступила через порог. Дверь она не заперла, как бывало, и ставни не закрыла.

Дважды за последнее время солнце заглянуло в сердце Ханы: первый раз, когда наши войска изгнали фашистов из местечка, и во второй раз — совсем недавно, всего несколько дней тому назад, когда снова заговорившее радио принесло вести с Большой земли. В этот же день к ней постучался письмоносец и принес ей письмо от сына, бойца Шлемы.

Долго смотрела Хана на листок бумаги и ничего не видела. Буквы плясали, слова прыгали, перед глазами плыли разноцветные круги. Когда она с большим трудом собрала воедино буквы и слова, Хана поняла, что сын еще ничего не знает о постигшем его горе: он писал своему расстрелянному отцу, посылал привет погибшей сестре и целовал сожженных племянников...

В письме было еще несколько строк, которые всколыхнули ее обессиленное сердце. Хана узнала, что Шлема находится совсем недалеко, всего в сорока с лишним верстах от местечка, и просит, чтобы младшая сестра Сара приехала к нему.

Хана решила повидать сына.

Путь казался ей не таким уж далеким. Хана хорошо знала эти дороги. За свои пятьдесят восемь лет она не раз ходила по ним. В этих местах она родилась и выросла, здесь рожала детей и здесь же их похоронила. Остался у нее один сын, Шлема. Где-то в этом лесу находится его лагерь.

Поднялось теплое, молодое весеннее солнце, и лес, совсем еще недавно дышавший страхом и смертью, сейчас манит к себе и пахнет юным днем, свежей травой, щавелем и полевыми цветами. У Ханы дух захватывает. Ей вдруг становится трудно идти. Хана присаживается отдохнуть на берегу мелкой речушки. На опушке леса, видит она, стоит красноармеец с винтовкой. «Это, наверное, один из Шлеминых товарищей», — думает Хана и прислушивается к учащенному биению своего сердца.

Она немного отдохнула, обмыла лицо свежей водой, перевязала платок на голове и перешла речку. Но не успела шагнуть к лесу, как услышала возглас:

— Стой!

Хана испугалась и остановилась. «Батюшки, — подумала она, — неужели это немцы?» Сердце замерло от этой мысли. Она приложила руку козырьком к глазам и присмотрелась: нет, это красноармеец, свой красноармеец, и это он кричал: «Стой!» Все-таки, она пойдет. Чего ей

бояться? Не станет же он стрелять в нее! И Хана направилась к красноармейцу.

— Стой, мамаша, здесь нельзя ходить! — снова услышала она, но притворилась, будто не понимает. Ну что может случиться? Не было еще такого случая, чтобы красноармеец причинил зло старому человеку! Она остановилась только тогда, когда штык винтовки сверкнул у нее перед глазами.

— Стой, говорю, мамаша!

Только сейчас Хана поняла, что дальше идти нельзя.

Красноармеец, стоявший на посту, оказался на редкость неразговорчивым. Он ни слова сказать не пожелал: знает ли он Шлему или что-нибудь о нем, есть ли здесь такой или нет. Он ее остановил, спросил удивленно, куда она идет и как она попала сюда, и, очевидно, для того, чтобы попугать птиц в лесу, подняв винтовку, выстрелил в небо. В ответ на выстрел сразу же прибежал красноармеец с красными петличками на воротнике. Красноармеец с винтовкой вытянулся перед ним в струнку и указал на Хану: поймал, дескать. Хана посмотрела на обоих, но ничуть не испугалась и сразу же спросила у старшего, не знает ли он, где находится ее сын. Она назвала фамилию — Шлема Фрадкин, сказала, откуда он родом, рассказала, сколько времени он служит в армии и что он был ранен в левую ногу

выше колена. Старший ей тоже не ответил, но улыбнулся, и от этой улыбки у Ханы стало сразу на сердце теплее. Красноармеец с петличками привел ее в будку, вытянулся перед каким-то очень большим начальником и отпраповтовал:

— Товарищ комиссар, пост номер такой-то задержал вот эту гражданку, которая пришла сюда, чтобы, по ее словам, повидаться с сыном!

Комиссар, человек среднего роста, лет тридцати пяти, с широким улыбающимся лицом, подошел к Хане, спросил, откуда она пришла и зачем, как зовут ее сына и давно ли она его не видала. Слушая ее ответ и рассказ обо всем, что с ней произошло, он, как родную мать, взял ее за руку, посадил рядом с собою, а красноармейцу с петличками приказал:

— Вызвать бойца Шлему Фрадкина.

Хана изменилась в лице. Ей стало жарко, и она слегка развязала платок. Комиссар заметил это, налил из глиняного кувшина немного воды и подал Хане:

— Выпей, мать... Устала, верно, с дороги? Много причинили вам горя гитлеровцы?

— Ах, сынок, что про это говорить, — еле пробормотала Хана, глотая воду. — Полгорода людей вырезали, обездолили навсегда наших дочерей... Да разве расскажешь обо всем, что они натворили! — Больше она говорить не могла, снова все внутри начало дрожать, и комиссар, с лица

которого исчезла улыбка, положил руку на ее голову и погладил ее. Он хорошо понимал, что всякое слово звучало бы сейчас бледно и бесцветно. Но и молчать было нельзя.

— Мы заплатим, мать, за все заплатим. . .

Хана посмотрела на комиссара, и вдруг на ее глазах показались слезы.

Комиссар освободил Фрадкина на весь день и оставил его наедине с матерью.

Вечером, когда лучи солнца в последний раз осветили вершины деревьев, комиссар подошел к будке, где находились мать с сыном. Хана сидела на траве, а Шлема молча ходил взад и вперед и курил папиросу за папиросой. Шлему комиссар знал давно, но сейчас ему показалось, что он видит его впервые: за этот день боец постарел лет на десять. Черные волосы у висков поседели и под глазами легли синие тени. Комиссар незаметно вздохнул, быстро закурил, встретясь при этом с его горячим взглядом.

Хана старалась с первой минуты встречи быть спокойной и не волновать Шлему. Она теперь смотрела на него, как на силу, которую она выносила, выпестовала и сберегла, чтобы она могла заступиться за нее и отомстить злодеям за причиненное зло. Он теперь один у нее, больше никого нет. А он так молод, так хорош и силен. От его стройного, гибкого тела пышет силой.

И комиссар, словно читая мысли Ханы, сказал ей, указывая на Шлему.

— Красивый у тебя сын, мамаша, преданный родине, хороший боец!

— Товарищ комиссар, — задыхаясь, проговорил Шлема, — моего старика отца расстреляли, младшую сестру обесчестили и увели, а старшую с двумя детишками сожгли...

Больше он говорить не мог. Он сказал только еще о своей любимой девушке, которая ушла к партизанам и погибла на виселице:

— А Фаня погибла геройской смертью.

Комиссар никогда не видел эту девушку, но хорошо ее представлял: не раз Фрадкин давал ему читать ее письма, в которых чувствовалась готовность в любую минуту идти в бой.

— Так, так... — проговорил комиссар и, положив руки на плечи Фрадкина, добавил: — Народ гордится такими дочерьми.

Хана вмешалась в разговор и сказала с гордостью:

— Она перебила столько офицеров! Гранатами их забросала. А когда ее поймали и истязали, она слова не проронила, никого не выдала!

Комиссар обратился к Хане с просьбой сказать несколько слов красноармейцам.

— Расскажи им, мамаша, о страшных днях и ночах фашистской оккупации.

Хана растерялась.

— Ведь они и сами очень хорошо все

знают, дорогой товарищ комиссар, — сказала она.

Но комиссар настаивал на своем:

— Нет, нет, мамаша, все-таки скажи пару слов. Расскажи о том, что своими глазами видела, что сама пережила. Ведь скоро мы снова идем в бой, мамаша!

— Хорошо, товарищ комиссар, я скажу.

На опушке леса стоял батальон красноармейцев. Было очень тихо, солнце собиралось садиться и остановилось на горизонте красное, как огонь. Бойцы стояли выпрямившись, в пилотках набекрень, туго перетянутые поясами и смотрели на маленькую женщину, стоявшую рядом с командиром и комиссаром. Лицо Ханы, измученное, почерневшее и сморщенное от горя и страданий, сейчас было торжественно. Высоко подняв голову, она с теплотой смотрела на красноармейцев. Глаза ее встретились с глазами сына. Он стоял в первой шеренге, в первых рядах красных бойцов. И сердце Ханы наполнилось радостью.

Очень немногие знали, что эта маленькая женщина в широком платье — мать Шлемы Фрадкина, и поэтому удивились, когда комиссар объявил, что сейчас она будет говорить.

— Дорогие мои сыночки, родные мои... Заклинаю вас... За пролитую кровь... отомстите злодеям... — Хана выпрямилась, уголком платка вытерла глаза и заговорила громче и увереннее: — Эти разбой-

ники резали маленьких детей, швыряли их в огонь, расстреливали стариков, бесчестили девушек... Напротив моего окна, дорогие мои сыночки, они повесили партизанку Фаню. Ох, как страшно было все это видеть! И только когда вы пришли, стало легче жить. Матери целовали следы ваших ног...

Она перевела дыхание. Красноармейцы впитывали каждое ее слово.

— Дети мои! — сказала она. — Сыночки мои любимые! Еще льется кровь... Варвары расстреливают в городах и селах стариков, насилуют женщин и сжигают младенцев. Отомстите фашистам! Бейте их, убивайте!.. — Она еще выше подняла голову, протянула руки вперед и окрепшим голосом произнесла: — Уничтожайте извергов на нашей земле! Чтоб ни синь-пороха от них не осталось!

Утром Хана прощалась с сыном. Долго смотрела она ему в глаза, а он держал ее в крепких объятиях, и Хана всем своим существом чувствовала его большую силу. Шлема проводил мать до дороги. Хана шла быстрым, молодым шагом, и, когда она снова перешла через речку, взошедшее солнце осветило дорогу к дому.

1943 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Вергелис. М. Гольдштейн	3
Поход на Волочаевку. (Рассказ.)	7
Биробиджанцы на Амуре. (Повесть.)	24
Состояние. (Рассказ.)	: 127
Странный извозчик. (Рассказ.)	137
Однажды весной. (Рассказ.)	145
Буря в летнюю ночь. (Рассказ.)	159
Кусок золота. (Рассказ.)	163
Затея немца. (Рассказ.)	182
Слово матери. (Рассказ.)	192

Гольдштейн Моисей

БИРОБИДЖАНЦЫ НА АМУРЕ

Редактор *Ю. Н. Терешин*

Художник *Д. С. Громан*

Худож. редактор *В. И. Морозов*

Техн. редактор *Г. В. Котова*

Корректор *В. Н. Стаханова*

Сдано в набор 7/1 1958 г. Подписано к печати 22/III 1958 г. А 02956 Печ. л. 6³/₈ (7,53). Уч.-изд. л. 6,39. Тираж 30 000.

Заказ № 33. Бумага 70 × 92¹/₂

Цена 2 р. 85 к.

Издательство «Советский писатель»
Москва, К-9. Б. Гнезниковский пер., 10.

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3.

Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Москва, К-9, Б. Гнезниковский пер., д. 10, издательство «Советский писатель».

2 р. 85 к.